

АЛЕКСАНДР  
ЧАЯНОВ

ИСТОРИЯ  
ПАРИКМАХЕРСКОЙ  
КУКЛЫ  
И  
ДРУГИЕ  
СОЧИНЕНИЯ  
БОТАНИКА X





АЛЕКСАНДР  
ЧАЯНОВ

ИСТОРИЯ  
ПАРИКМАХЕРСКОЙ  
КУКЛЫ  
И  
ДРУГИЕ  
СОЧИНЕНИЯ  
БОТАНИКА X

RUSSICA PUBLISHERS, INC.  
NEW YORK · MCMLXXXII

**АЛЕКСАНДР ЧАЯНОВ.**

ИСТОРИЯ ПАРИКМАХЕРСКОЙ КУКЛЫ И ДРУГИЕ СОЧИНЕНИЯ  
БОТАНИКА Х.

**Александр Бахрах.** Мой приятель Ботаник Х. *Предисловие.*

**Леонид Чертков.** Чаянов как прозаик. *Очерк творчества.*

*Обложка и титул работы Эрика Первухина.*

**CHAIANOV, ALEKSANDR VASIL'EVICH. 1888-1939.**

ISTORIJA PARIKMAKHERSKOI KUKLY I DRUGIE SOCHINENIJA  
BOTANIKA KH.

**Bacherac, Alexandre.** Moi priiatel' Botanik KH. *(A preface).*

**Tchertkov, Leonid.** Chaianov kak prozaik. *(Essay on Chaianov's Prose).*

Cover and title page design by **Erik Pervukhin.**

© 1982 by RUSSICA PUBLISHERS, INC.

All rights reserved.

Library of Congress Catalog Card Number: 82-60919

ISBN: 0-89830-028-2

RUSSICA PUBLISHERS, INC.

799 Broadway

New York, New York 10003.

## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В настоящем однотомнике впервые объединены художественные произведения Александра Васильевича Чаянова (1888—1939), одного из наиболее ярких и разносторонних деятелей русской культуры первой четверти 20 в.

Профессиональный ученый — биолог, экономист и историк, — Чаянов публиковал свои художественные сочинения под ироническим псевдонимом «Ботаник Х.» Вышедшие крошечными тиражами в 1920-х гг., они быстро стали библиографическими редкостями. После того, как в 1929 г. Чаянов был арестован по ложному обвинению, его книги были изъяты из обращения и в значительной своей части уничтожены.

В предлагаемый том вошли пьеса «Обманщики» и пять романтических повестей:

«История парикмахерской куклы, или Последняя любовь Московского архитектора М.»;

«Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей»;

«Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стеклянного человека»;

«Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина»;

«Юлия, или Встречи под Новодевичем».

Издательство выражает глубочайшую признательность гг. Александру Бахраху и Эрику Первухину, любезно предоставившим для настоящего издания уникальные экземпляры книг Чаянова из своих личных собраний.



## МОЙ ПРИЯТЕЛЬ «БОТАНИК X.»

Это было давно, может даже показаться, что это было «в те года, от которых не осталось и следа», и ведь действительно жили мы тогда в мире, который едва ли был схож с сегодняшним. Но все же в сознании кое-что от тех времен не стерлось, иначе не удалось бы сохранить в памяти хотя бы разрозненные и отрывочные впечатления, остающиеся от встреч с человеком, которому по прихоти истории была предуготована не в меру тяжелая судьба, хоть и был он одним из многих... страшно выговорить — одним из очень, очень многих... Но ведь каждый из нас так устроен, что сцепление трагических событий в биографии человека, которого знал, которому жал руку, которого видишь перед своими глазами, совсем по-иному переживается, чем все то, даже много более жуткое, что относимо к многозначной цифре «анонимов».

На страницах одной из зарубежных газет я не так давно наткнулся на статью, вкратце описывающую биографическую канву того человека, о котором я хотел бы теперь вспомнить, об Александре Васильевиче Чаянове; и я не могу не быть благодарным ее автору за то, что он, сам того не подозревая, кое-что оживил в моих собственных воспоминаниях.

Хотел бы сразу оговориться и подчеркнуть, что я не экономист, ни в агрономических науках, ни в кооперации ничего не смыслю и когда, как все в жизни, случай позволил мне познакомиться с Чаяновым, я даже толком не знал, что уже тогда он был автором целого ряда выдающихся в своей области трудов, по-видимому, настолько значительных, что они переводились на иностранные языки (даже на японский), а сравнительно недавно часть их, как-никак составившая целых восемь томов, была переиздана на Западе.

Добавлю еще, что я не москвич и Москву знаю буквально с «птичьего полета», несколько раз бывал в ней в детстве по несколько дней. А еще того меньше знакомы мне ее окрестности, и о Петровско-Разумовском, где находилась знаменитая Сельскохозяйственная Академия, в которой профессорствовал



Чаянов, знал я только понаслышке. Конечно, описание тамошнего парка с его прудами врезалось в память каждого. Ведь именно там совершилось убийство Шатова, и это неминуемо заставляло думать об этих подмосковных садах с каким-то содроганием. С другой стороны, в лирических строчках Ходасевича Петровско-Разумовское рисовалось ему в ореоле розовых воспоминаний:

А уж если сны приснятся,  
То пускай в них повторятся  
Детства давние года:  
Снег на дворике московском  
Иль в Петровско-Разумовском  
Пар над зеркалом пруда.

Где истина? В кругах по воде от брошенного в него тела или в паре над его зеркалом?

Я коснулся Петровско-Разумовского не зря, хоть и не знаю, продолжает ли оно так именоваться, потому что в разговоре Чаянов постоянно упоминал эту подмосковную и говорил о ней, как о своей резиденции, посвятив ей даже небольшую, но очень дотошную монографию, и я невольно отождествляю с ним самого Чаянова.

Но это, конечно, не мешало тому, что во всем своем облике, как внешнем, так и внутреннем, он был типичнейшим москвичом, во всем, что в те далекие времена в такое «определение» вкладывалось. В профессоре Академии было что-то от «архивного юноши», но еще больше от подлинного «интеллигента с Арбата», который в свободные от занятий минуты (как он их только находил?) мысленно устремлялся в какие-то стародавние времена, то в Белокаменную, едва отстраивавшуюся после нашествия «двунадесяти языков», в Москву «Бедной Лизы», по которой с цилиндром на голове и с белоснежным жабо на груди разгуливал Василий Львович Пушкин, то на берега Арно или к венецианским каналам. А за всем тем, неподалеку от его письменного стола несомненно стояла книжная вертушка (кто их теперь еще помнит?), на которой наряду с каким-нибудь Адамом Смитом и другими классиками «его» наук стояли в оригинальных изданиях сочинения Э.Т.А. Гофмана, да еще его же «Золотой горшок» в переводе не кого-нибудь, а Владимира Соловьева, и рядом — отечественные романтики — князь Одоевский, Погорельский и, надо думать, редчайший «Упырь» Алексея Толстого. А где-то рядом коробки и коробки с ценнейшими листами великих мастеров великих веков гравировального искусства, может быть, не все в том «идеальном» состоянии, в каком он мечтал бы их видеть, как почти с отчаянием в голосе признавался Чаянов. Об этих листах он способен был говорить подолгу и с каким-то особенным «коллекционерским» красноречием. Я почти готов утверждать, хотя для этого у меня нет конкретных данных, что перелистывание этих эстампов, их разглядывание с лупой в руке, заставляло его забывать многое,

по-настоящему тяжелое, что до поры до времени только нависало над ним. Хотя, несмотря на всю свою прозорливость, он, конечно, мог и не подозревать всего, что творилось за стенами его института — ведь он все-таки был по существу кабинетным ученым.

\* \* \*

Мне хочется сослаться здесь на так сильно полюбившегося Чайнову Одоевского, который писал, что «собираательство доставляет иногда совсем неожиданные наслаждения»: не думал ли Чайнов о себе самом, когда читал вслух отрывок из «Русских ночей», который, вспоминая о нем, я не раз перечитывал. «Вы, может быть, видели карикатуру, которой сцена в Неаполе», — пишет Одоевский, — «на открытом воздухе, под изодранным навесом, книжная лавочка; кучи старых книг, старых гравюр, наверху мадонна; перед лавочкой капуцин и молодой человек в большой соломенной шляпе, у которого маленький лазарони искусно вытягивает из кармана платок. Не знаю, как подсмотрел эту сцену проклятый живописец, но только этот молодой человек — я; я узнаю мой кафтан и мою соломенную шляпу; у меня в этот день украли платок, и даже на лице моем должно было существовать то же глупое выражение. Дело в том, что тогда денег у меня было немного, и их далеко недоставало для удовлетворения моей страсти. Это обстоятельство заставляло меня избегать публичных аукционов, где, как в карточной игре, пылкий коллекционер может в пух разориться; но зато я со всеусердием посещал маленькую лавочку, в которой издерживал немного, но которую зато имел удовольствие перерывать всю от начала до конца... Это одна из самых сильных страстей, когда вы дадите ей волю...»

Я решился привести эту непомерно длинную цитату из «Русских ночей», потому что даже мельчайшие детали этого описания полностью приложимы к Чайнову. Все в приведенном отрывке почти портретно, разве что Неаполь можно счесть поэтической вольностью.

Именно поэтому все, что случилось с Чайновым, по существу представляется еще более иррациональным, чем вся та фантастика, которую он вводил в свои повестушки, служившие ему отдушиной от повседневных забот.

Ведь в тех обвинениях, которые были ему предъявлены, было так же мало правды, так же мало обоснованного, как и во всех зловещих процессах, которые позднее стали фабриковаться «оптом». Но дело Чайнова и тех, кто попал на скамью подсудимых рядом с ним, еще казалось некоей «небывальщиной», к которой не были подготовлены ни обвиняемые, ни обвинители, приобретшие навык только спустя несколько лет. Процесс Чайнова и иже с ним был одним из первых «показательных» процессов — может быть, оттого он и был менее кровавым, чем последующие, но для судьбы тех, которые попали в это колесо и оказались

навсегда оторванными от уклада жизни, от семьи, от своих пристрастий, он был не менее трагичен.

\* \* \*

Но вернемся на несколько лет вспять. В начале 20-х годов Чайнов не раз приезжал за границу с научными командировками, встречался со своими западными коллегами. Целью его заграничных поездок было более пристальное ознакомление с эволюцией западной экономической мысли, с развитием западной кооперации, о которой в тогдашней России было еще мало что известно. А рядом с этим — вменялось ему других послушать да и себя показать. Так, в конце 1922 года он некоторое время провел в Лондоне, а затем переправился в Гейдельберг, где был своим человеком — когда-то он в гейдельбергском университете учился. Кроме того, он нередко наезжал в Берлин — академическая жизнь в германской столице была еще на высоте.

Во время его пребывания на берегах Некара кто-то, кажется, это была Екатерина Дмитриевна Кускова, которая была в каком-то свойстве с Чайновым, передала мне «для отзыва» маленькую книжечку — «Венедиктов», появившуюся в Москве под именем «ботаника X.». Это была гофманианская, созвучная романтическим повестям начала прошлого века новелла. Было в ней немного чертовщинки, умелая стилизация, но было и нечто свое, ни у кого не заимствованное и, как мне тогда казалось и продолжает видеться полвека спустя, несомненно литературно ценное, хоть, может быть, не в меру изощренное и потому как-то не ко времени. Впрочем, говорят, что именно чайновский «Венедиктов» послужил Булгакову толчком для написания «Мастера и Маргариты».

В берлинской русской газете, в которой я тогда сотрудничал, я поместил о «Венедиктове» небольшую рецензию, вероятно, строк в 20 или 30. Однако, если не ошибаюсь, это был единственный печатный отзыв об этом литературном опыте видного экономиста, о «настоящих» трудах которого были написаны десятки статей, полемических и хвалебных. Зоилы тогда еще предпочитали помалкивать, Чайнов представлялся им еще как некая “*persona grata*”, и до известной поры пускать в него ядовитые стрелы было, пожалуй, зазорно. Но все же было закономерно, что советской литературной критике до какой-то повестушки, изданной в количестве тысячи экземпляров под каким-то непонятным псевдонимом, не было никакого дела. «Ботаник X.» — кто это? Неровен час писать о нем!

Может быть, именно поэтому несколько теплых строк тронули Чайнова, и через общих знакомых он выразил желание встретиться со мной. Должен тут же признаться, что по молодости лет я этой встрече тогда побаивался. Что общего, кроме «Венедиктова», могло у меня быть с ученым специалистом по кооперации? Мне казалось, несмотря на некоторую его писательскую

«экстравагантность», что я встречу человека сухого и скучного, с горизонтом, ограниченным профессиональными интересами. Я таких людей боялся, боюсь и по сегодня!

А затем... хотя число наших встреч было весьма невелико, так как Чайнов в Берлине, где я тогда находился, никогда подолгу не засиживался, потому что все время колесил с докладами по разным университетским городам, все же я должен сказать, что за мою долгую жизнь мне редко приходилось сталкиваться с таким «уютным» собеседником, с человеком не только приятным, но всепонимающим и, главное, не навязывающим другим своих воззрений, не только не кичащимся своими подлинными знаниями, но почти их скрывающим. Не было, кажется, литературной темы, которая не находила бы в нем отзвука, которую он не развивал бы по-своему, иногда очень причудливо, что-то от себя добавляя и словно дополняя пропущенное или недоговоренное собеседником.

В силу внешних причин наша дружба — не побоюсь и сейчас прибегнуть к этому слову, могущему показаться хвастливым — была вполне эфемерной, но было в наших отношениях и беседах что-то трудно определяемое словами, что заставляло верить в их подлинность. Вопреки тому, что выходило из-под пера его двойника — «ботаника Х.» — в Чайнове все было естественно, человечно в лучшем смысле слова, не было ни малейшей надуманности, ни какого-либо оттенка превосходства.

Несмотря на разницу лет — он родился в конце восьмидесятых годов прошлого века, я в самом начале нынешнего, — на разницу в общественном и социальном положении, мне сразу же стало мерещиться, что я встретил старого приятеля, который так вкусно рассказывает о Москве, о ее закоулках, о тогда еще не вымершем племени старых московских букинистов, о своих находках, о том, как не имея достаточного количества «разменной монеты», он пополняет свои коллекции путем обмена, путем каких-то изощренных комбинаций.

В этих порой затянувшихся чашках чая никогда мы не касались злободневных вопросов, словно их в нашем тогдашнем общем мире и не существовало, и даже когда он невзначай заговаривал о своей работе, о своих лекциях или докладах — все это было выше моего разумения — он скорее описывал пейзаж Петровско-Разумовского и его сады, чем то, что могло происходить в аудиториях Академии.

Я невзначай обнаружил, что его литературная «карьер» началась еще в канун революции, с издания сборничка стихов — «Лелина книжка». В разговоре я упомянул об этом «грехе молодости» и он недовольно на меня посмотрел, залившись алой краской. «Прошу вас, не будем говорить об этом», — сказал он, — «я бы охотно поступил вслед Гоголю с его Аловым, но теперь это едва ли мыслимо, для этого нужна энергия, которой у меня нет, но кроме того, думается, что эта нелепая книжонка давно превратилась в труху в каких-нибудь книжных складах. Ведь ее никто никогда не покупал...».

Эта «Лелина книжка», которую я так никогда и не видал, была его единственным литературным упражнением, от которого он готов был открещиваться, и напоминание о котором способно было его раздражать. Все остальные — а ведь, в сущности, их было до крайности мало, даже если к ним прибавить его «пособия» для собирателей гравюр — как бы щекотали его авторское самолюбие, и к посторонним высказываниям о них сравнительно молодой, но уже «маститый» профессор был далеко не равнодушен.

Я не хотел бы выступать сейчас в роли литературного критика и обсуждать произведения «ботаника Х.» с точки зрения «компаративного литературоведения» или разыскивать вдохновлявшие его источники и приводить тексты, которые он, может быть, в каком-то смысле транспонировал. Сам он раскрыл один из главных своих источников, посвятив одну из первых своих новелл «памяти великого мастера Эрнста Теодора Амедея Гофмана», хоть и перенес ее действие в Москву нашего века. Но хронология не играла большой роли в чаяновской фантастике. Эта фантастика, собственно, была всегда вне-временной, и бытовой фон был в ней более или менее случаен.

Вместе с тем, в беллетристических опытах Чаянова была еще одна черта, о которой следовало бы упомянуть: при всей его тяге к тому, чтобы вырваться из трех измерений, он никогда не решался переступить какие-то созданные им самим рамки, переступить через какую-то, пускай своеобразную, реальность. В его пейзажах поражает точность описаний и это относимо не только к Москве, которую он знал вдоль и поперек, но и к Венеции или любому другому городу, который им упоминался. Наряду с этим его пристрастие к точности проявляется и в использовании всевозможных технических терминов; в «Парикмахерской кукле», например, это бильярдный жаргон, чем-то напоминающий карточную терминологию в «Пиковой даме».

В списке его произведений чуть особняком стоит изданная им в «1-й год Республики», как указывает заглавный лист, трагедия «Обманщики», все три действия и девять сцен которой уместились на двадцати страничках малого формата. Эта мало-сценичная «трагедия» из римской жизни — некое подобие скетча, а вернее, курьезный «пустячок» с пародийным оттенком, созданный, чтобы показать, что «абстрактную проблему нельзя перенести в современность, ибо это требовало бы соблюдения исторической верности. А для читателя наших дней, для которого Рим рисуется весьма немногими, и то расплывчатыми чертами, легче соблюсти историческую верность в Риме, чем в доподлинно известной ему, читателю, современности». В этой как бы брошенной на ветер, хоть и далеко не случайной, фразе отражается некое литературное кредо Чаянова, готового утверждать, что если читателя будут коробить исторические нелепости (можно было бы при этом добавить — и несообразности с точки зрения нашего обывательского мира), то пусть он представит написанное им «в некоей стране будущего, где по странной игре

случая есть и Геркуланум и *via Appia*». А затем, ссылаясь на Вольтера, Чаянов добавлял: «Я смело бросаю свои образы в мир римских (или каких-либо других) представлений русского читателя, полагая, что они затем сами, как кошки, встанут на ноги».

Точно в дымке вспоминаю я сейчас еще один вечер, проведенный в «салоне» какого-то берлинского пансиона с традиционными креслами, покрытыми красным сильно потрепанным плюшем, с «Островом мертвых» или каким-нибудь другим не менее опошленным Бёклином на стене. Я не помню, кто был с нами, но в память врезалось, как Чаянов с неподдельной гордостью вынес из своей комнаты большую картонную папку и стал демонстрировать несколько листов Пиранези, которые ему удалось где-то раздобыть накануне. Глядя на один из листов (предполагаю, что это был лист из серии «Темниц»), Чаянов заговорил о величии безумия, о том, что все «вавилонские башни» Пиранези отнюдь не были бредовыми измышлениями, поскольку — настаивал он — художник ничего не выдумывал, а только запечатлевал гравировальной иглой то, что действительно предстало перед его глазами. «Это утопии создаются умом, говорил он, а фантастические видения Пиранези — сверхреальность».

Мне теперь, конечно, трудно дословно вспомнить все то, что говорилось в этот знаменательный вечер (если не ошибаюсь, последний, проведенный мной вместе с Чаяновым), но я только — не без смущения — пытаюсь своими словами воссоздать его атмосферу или, по-медицински, его «давление», когда Чаянов вдруг, почти непредвиденно, улетал в «недозволенные области», в которых литературное происхождение его писаний смешивалось уже с чем-то потусторонним, магическим, четырехмерным, потузеркальным, в которое он, вероятно, в глубине души и сам не верил. Но он — профессионально — умел поддеть свою аудиторию, и то, что он говорил, производило на слушателя несомненно большее впечатление, чем на его читателя, потому что при всей своей многосторонней талантливости, в своей беллетристике он все-таки оставался в известной степени дилетантом, который боится перешагнуть через те барьеры, которые он сам для себя заранее установил, может быть, из боязни быть обвиненным в плагиатах, в заимствованиях из чудесной «Алисы», а скорее всего, не хотел давать пищу тем или иным фрейдIANцам. Венский «мудрец» легко мог придумать свой комментарий к прозе Чаянова с ее своеобразием, которое при желании сводимо к одному знаменателю.

Я только много позже понял, что этот вечер мне открыл в Чаянове много из того, что раньше было скрыто, потому что так бывает, что иные интонации, иные междометия более красноречивы, чем весь увесистый том, в который они вкраплены. Я понял, почему меня прельстило его «Венецианское зеркало» и почему я вправе считать себя «крестным отцом» этой книжечки,

выпущенной, как и все остальные, собственно, «на правах рукописи».

Из моего архива, вернее, из уцелевшей его части, извлекаю несколько писем Чайнова, гляжу на них с болью и невольно думаю, как все с тех пор вокруг меня изменилось. Вот отрывок письма из Гейдельберга:

«Прилагаю окончательную редакцию той повести, которую при вас читал, относительно которой обращаюсь к вам с нижеследующей просьбой. Если вас не затруднит, то переговорите с Вишняком (берлинским издателем, вероятно, тогда одним из лучших в смысле оформления книги), не возьмется ли он ее издать в «Геликоне» в этой новой редакции, не в сборнике, а отдельным выпуском. Наиболее необходимыми для меня условиями являются — новая орфография и 2—3-месячный срок издания. В качестве гонорара удовольствуюсь 50 экземплярами. Право второго издания оставляю за собой. Если Вишняку сие не подойдет и никто из других издателей выпуском не заинтересуется, я бы мог издать на свой счет, но не знаю, как это сделать технически».

Чуть позже: «Огромное вам спасибо за ваши хлопоты. Судя по вашему письму, все выйдет превосходно. Труднее всего перевести из Гейдельберга деньги в валюте... [Это была Германия эпохи инфляции, когда малейшее промедление с пересылкой марок было равносильно их полнейшему обесценению]. Быть может, Вишняк знает способ пересылки денег в фунтах? Валюта уже отложена в конверте [одиннадцать английских фунтов — но тогда эта сумма людям, жившим в Германии, казалась капиталом!] и находится в вашем распоряжении. Жалею, что вы только собирались к нам в Гейдельберг, но не приехали на самом деле. Это далеко не так далеко, всего только одна ночь».

А едва ли не днем-другим позже возникают сомнения: «Будьте откровенны и напишите мне откровенно, стоит ли вообще издавать эту повесть [«Венецианское зеркало»] и не лучше ли ее присоединить к портфелю моих неиздаваемых рукописей? Мне лично кажется, что «Зеркало» немного замучено многочисленными переделками, а работать над ним дальше не могу, так как совершенно вышел из круга его психологии. Вам как первому моему критику принадлежит решающее слово. Еще одно — книжка должна выйти в месячный срок. Возможно ли это? В Москве я бы ее выпустил в 4 дня».

И дальше: «Сейчас, поскольку остается время от научных работ, пишу «большой роман» — «Необычайные, но истинные похождения Ф. Мих. Бутурлина» (XVIII век в Москве), который меня удовлетворяет больше чем в свое время удовлетворяли другие повести».

А затем в письме от 2 июня: «Утром 10-го июня я с мюнхенским поездом приеду в Берлин и в тот же день мне хотелось бы повидаться с вами... Кстати, я привезу с собой законченного

«Бутурлина» и если в течение 10-го, 11-го и до семи часов вечера 12-го у вас найдется охота слушать сногшибательную фантастику, я бы с радостью прочел ее вам и тем, кого вы найдете нужным пригласить на это чтение».

Не вполне уверен, состоялось ли оно, потому что Чайнову по каким-то причинам пришлось спешно возвращаться в Москву, и если я отчетливо вспоминаю, как он при мне читал свое «Зеркало», то массивное чтение «Бутурлина» почему-то окончательно выветрилось из моей памяти. Предполагаю, что оно и не состоялось.

Между тем, синяя книжечка с «Зеркалом» хоть и с непростительным опозданием, все же вышла под маркой «Геликона», но выход ее совпал с моментом почти повального разъезда русских, осевших в Берлине, и никакого отклика в зарубежной печати она не встретила. Переписка наша заглохла после возвращения его в лоно Сельскохозяйственной Академии.

Было бы с моей стороны непростительной натяжкой уверять, что Чайнов был моим другом, ведь в конечном счете встречались мы, как я уже говорил, считанное число раз, и почти всегда питала наши встречи литературная тематика, но вместе с тем я мог подчас наблюдать, что Чайнов бывал во власти захватывающей его тоски, чего-то, что его внутренне разъедало и чему я, конечно, не находил объяснений. Да, вероятно, я тогда и не старался их найти. Но это просачивалось наружу и, собственно, шло наперекор его внешним жизненным удачам. Если в «Венецианском зеркале» он между строк говорит о «беспредельности тоски» («чем больше власти, тем больше тоски»), то, вероятно под «властью» надо понимать некую совокупность жизненных успехов, достижение какого-то более высокого положения, все равно в каком плане. А вот именно эту «тоску» ему не удавалось рассеять никакими необычными для его нормального пути времяпрепровождениями, сочинением далеких от жизни новелл или рискованной в сложившейся обстановке «крестьянской утопии», даже если она была издана самим Госиздатом с предисловием самого Воровского, одного из видных советских вельмож той эпохи.

Чаянов опоздал родиться. Того сам не выбирая, он появился на свет Божий в то грозное время, когда даже теория кооперации могла ни за что, ни про что привести человека — вполне беззащитного — на скамью подсудимых. «Скамья» была беспощадной, но что следовало за ней мне в точности неизвестно, и потому я не буду этого скорбного периода его жизни «не жизни» касаться.

Мне только хотелось бы вспомнить его наряду с именами в каком-то смысле более блестящими и подчеркнуть, что он не забыт. Эта небольшая его книжка, которую, надо надеяться, «проглотит» читатель, лишнее тому свидетельство, хотя она только осколок восьмитомного собрания его научных трудов.



Последний том советской литературной энциклопедии заканчивает строки, ему посвященные, лаконическими, ставшими почти трафаретными словами «посмертно реабилитирован». Но все мы слишком хорошо знаем, что подобная «реабилитация» практически приносит.

**Александр Бахрах**

## А. В. ЧАЯНОВ КАК ПРОЗАИК

А. В. Чаянов был одним из наиболее оригинальных и разносторонних деятелей, выдвинутых русским культурным Ренессансом начала XX века. В литературе однако обычно обращается внимание на его главную специальность — его аграрно-экономические труды и идеи и лишь на один аспект его литературного творчества — социально-утопический<sup>1</sup>. Здесь дается попытка впервые с известной полнотой охарактеризовать Чаянова как беллетриста, а также как историка, искусствоведа и общественного деятеля.

### 1.

Александр Васильевич Чаянов родился 17 (29) января 1888 года в Москве. Его родители происходили из купеческих семей средней руки, лишь недавно выбившихся из крестьянства и не вполне утративших связь с землей. Семья отца — Василия Ивановича — происходила из Иваново-Вознесенской, а матери — из Вятской губерний. Особую роль в формировании Чаянова сыграла его мать Елена Константиновна (урожденная Клепикова), выпускница Бестужевских курсов, сумевшая дать ему хорошее домашнее образование. С детства Чаянов владел четырьмя европейскими языками. Впоследствии он закончил Московское частное реальное училище Воскресенского. Среди родни Чаянова было несколько агрономов, так что выбор им профессии был отчасти предопределен семейной традицией. С 1906 по 1910 гг. он учился в Московском Сельскохозяйственном Институте (позднее Петровская, а затем Тимирязевская Сельскохозяйственная Академия) у профессо-

---

<sup>1</sup> Назовем некоторые последние публикации: Basile Kerblay. A. V. Čajanov. *Cahiers du monde russe et soviétique*, Paris, 1964, vol. 5; N. D. Shaw. The Only Soviet Literary Peasant Utopia. *Slavic and East European Journal*. Madison, 1963, vol. 7 № 3; М. Геллер. Спасшиеся из утопии. *Русская мысль*. Париж, 27 ноября 1975; Б. Филиппов. Об одной утопии. *Там же*, 2 сентября 1971; О. Ласунский. Чаяновские издания. *Журн. Подъем*, Воронеж, 1968 № 3; Б. Смиренский. Подражательные повести. В его кн. «Перо и маска», М., 1967; наконец наша заметка о Чаянове в Краткой литературной энциклопедии, том 8, М., 1975.

ров А. Ф. Фортунатова, Д. Н. Прянишникова, Н. А. Каблукова, Н. Н. Худякова, В. Н. Григорьева и других<sup>2</sup>.

Его дипломная работа о южной границе распространения трехпольной системы полевого хозяйства (издана в 1910 г., рукопись хранится ныне в Центральном Государственном Архиве Москвы) была высоко оценена его учителями, и он был оставлен при кафедре сельскохозяйственной экономики. В 1908—12 гг. он совершил несколько поездок за границу в связи со своей специализацией (Италия, Германия, Бельгия, Франция, Швейцария), результаты которых были им позднее опубликованы. С 1910 г. Чаянов начинает свою преподавательскую деятельность в ряде московских учебных заведений (в том числе на Кооперативных старообрядческих курсах, в Коммерческом женском училище и т. д.).

Первым его анонимным выступлением в печати была сочувственная рецензия на русский перевод книги Эльцбахера «Анархизм», напечатанная в газете «Вятская жизнь» № 133 от 9 июля 1906 г. (указано в автобиографии для неизданного 2-го тома словаря «Современные русские писатели» — Архив Гос. Музея Изобразительных Искусств в Москве). В 10-х годах он нередко выступает в печати по своей специальности (в т. ч. в газетах «Русские ведомости», «Утро России»), пишет статьи для энциклопедического словаря Гранат, а в 1916 г. выпускает педагогическую брошюру «Методы изложения предметов». Стоит Чаянов и членом правления книгоиздательства «Задруга».

Второй профессией Чаянова становится однако непосредственное литературное творчество. Первое известное нам его литературное произведение сохранилось в архиве С. Клепикова (Рукописный отд. Б-ки им. Ленина). Это — написанная в 1906 г. пьеса «Когда падают на землю желтые листья». Это юношеское сочинение изображает переживания молодого человека, одержимого какими-то неясными ему самому стремлениями и не находящего общего языка с окружающими. Отмеченная влиянием чеховской драматургии и характерная по своему настроению для эпохи безвременья, она была написана с известным профессионализмом (Чаянов принимал участие в любительском театре и, возможно, пьесу пробовали ставить), но конечно же может быть отнесена к «пробам пера». Такой же «пробой пера» был и маленький сборник его стихов «Лелина книжка», изданный в 1911 г. (где самые ранние стихи датированы 1908 г.). В начале 1912 г. Чаянов послал его на отзыв в журнал «Русская мысль», сопроводив письмом на имя редактора литературного отдела Валерия Брюсова, где между прочим писал: «Герб на обложке и название,

---

<sup>2</sup> Укажем, что некоторые из этих лиц были близки к литературным кругам: Фортунатов выпустил в 1914 г. книжку шуточных стихов «Три вирши», Григорьев — родственник Ап. Григорьева — был дружен с Короленко, Худяков знал П. Муратова, Б. Зайцева — о нем и о Каблукове упоминает А. Белый в своих мемуарах.

встречающиеся в книжке «Всемирная Академия Истинного Искусства и Истинных надписей» представляют собой шуточные атрибуты одного из московских литературных кружков. Книжка напечатана в двадцати экземплярах и кроме членов кружка послана только Вам и журналу «Аполлон» (Рукописный отд. Б-ки им. Ленина, ф. 388). Книжка действительно была названа среди поступивших на отзыв в «Аполлоне» № 5 за 1912 г. Оба журнала печатно на нее отзываться не стали ввиду ее дилетантского характера, однако Брюсов ответил личным письмом автору от 17 ноября 1912 г. (сохранившимся в одном московском частном архиве), в котором писал: «Ваши стихи написаны очень бойко — вот все, что я могу о них сказать. Большого значения этим милым шуткам Вы вероятно не придаете и сами. Есть у Вас интересные рифмы, но «стебля» и «меня» я рифмовать Вам не советую». Думается, к этому же раннему периоду мы можем смело отнести и изданную в 1921 г. в Сергиеве небольшую «трагедию» «Обманщики» как бы «из древнеримской жизни», но на самом деле носящую столь же «домашний» характер, что и «Лелина книжка». Впрочем, за эту пьесу Чайнов был избран 4 апреля 1928 г. членом Московского Общества Драматических Писателей и Композиторов (МОДПиК). Укажем здесь же, что в начале 20-х годов им была написана также стихотворная кантата для вечеров ритмической гимнастики по методу Далькроза (которую преподавала его первая жена — Елена Васильевна<sup>3</sup>), положенная на музыку известным композитором Анатолием Александровым. В общем, можно резюмировать, что раннее творчество Чайнова носило еще чисто любительский характер и отличалось известной бесцельностью и бестемьем.

Однако в 10-е же годы начинает выявляться новая область интересов Чайнова, которая вносит живительную струю и в его литературную работу. Он начинает выступать как историк и искусствовед. Неизвестно, получил ли он в этой области какую-либо подготовку, но его деятельность на этом поприще носила вполне профессиональный характер. Скорее всего, его занятия русской историей выросли из исторических штудий, необходимых для его статистических работ, ряд которых имел ретроспективный уклон. Можно выделить несколько направлений в его деятельности историка. С одной стороны — это история сельскохозяйственной науки, ближе всего примыкающая к его основной специальности. Сюда можно отнести, например, его работу «Основные линии развития русской сельскохозяйственной мысли за два века» (приложение к книге Р. Крцимовского «Развитие основных принципов науки о сельском хозяйстве в Западной Европе». М., 1927); некролог Е. П. Житеневу в газете «Наша Родина» № 11 от 26 мая 1918 г.; биографическую заметку о В. Н. Григорьеве (в его книге

---

<sup>3</sup> Чайнов разошелся с ней в начале 20-х гг. Ей, между прочим, посвящен рассказ П. Муратова «Богиня» (в его «Магических рассказах», М., 1922).

«Предметный указатель материалов в земско-статистических трудах с 1860 по 1917 гг., выпуск 2. М., 1927), интересную для характеристики 1870-х гг.; воспоминания о Н. Н. Худякове («Сборник научных работ и воспоминаний, посвященных памяти профессора Н. Н. Худякова». М., 1929), где между прочим указано на воздействие пропагандировавшихся Худяковым философов Маха, Авенариуса, Пуанкаре (к слову сказать — главных объектов критики Ленина в его «Материализме и эмпириокритицизме») на «наивный реализм» молодого Чайнова. (Интересно, что портрет Худякова дан Чайновым отчасти в духе его повестей — Худяков обрисован им как гуманист эпохи Возрождения — в его «фаустовской» лаборатории ученики сами выдувают стеклянные приборы, в которых творится «какая-то ботаническая гофманиада»). К этим работам примыкают доклад «Галерея деятелей МОСХ» (в сборнике «Московское общество сельского хозяйства». М., 1921), работы по истории бюджетных исследований, «История Высшей Сельскохозяйственной школы в Петровско-Разумовском» (газета «Тимирязевка», 1927, № 9/18) и наконец книжка «Петровско-Разумовское в его прошлом и настоящем». М., 1925.

Эта последняя работа уже отчасти относится к другой стороне деятельности Чайнова как историка и топографа Москвы. Для своего времени он был уникальным специалистом в этой области. Главный его большой труд на эту тему погиб вскоре после его ареста в 1929 г. Уцелели лишь маленькие фрагменты его, не дающие представления о целом. Укажем их. Чайнов работал, например, над историей планировки Москвы. В ученой комиссии при музее «Старая Москва» (собиравшейся в Сухаревой башне) 29 мая 1921 г. он прочел доклад «Опыт построения ситуационного плана Москвы XV века». В 1920 г. был отдельно издан составленный им в виде карты «План Москвы XVII века». Недавно в некоторых самиздатских материалах промелькнули сведения о том, что Чайнов подошел к выводу о спирально-веерной планировке Старой Москвы. Особо он интересовался теми районами, где протекала его преподавательская работа. Сюда можно отнести его статью «История Миюсской площади» (в журнале «Вестник шанявцев», 1918, № 4, издававшемся Народным университетом имени Шанявского). Любопытно, что и во время отпуска, который он часто проводил в районе Звенигорода и Николиной горы, он не оставлял краеведческих занятий. Так он составил археологическую карту Москворецкого узла. Он сделал также лоцию Москва-реки от Звенигорода до Николиной горы. На самой Николиной горе он производил планомерные археологические раскопки, давшие определенные результаты. Также им была подготовлена к публикации «Межевая грамота великого князя Ивана Васильевича III сыну Юрию на Звенигородскую волость» 1504 года.

Известны и темы некоторых других его исследований. Так у него были изыскания о химерах, существовавших в XVII веке на Спасской башне Кремля, о «Вшивой горке», где некогда

находились парикмахерские и были обнаружены в отложениях слои волос и т. д. Преимущество Чаянова перед историками *par excellence* состояло в том, что он был также и знатоком экономики старой России (в более глубоком разрезе, чем обычно), и мог подходить к истории комплексно. Занятия Чаянова дали ему возможность составить единственные в своем роде учебные курсы истории и топографии Москвы, которые он читал в том же университете им. Шанявского в 1918—19 гг. и (видимо, более фундаментальные) в Московском университете в 1927—29 гг. В Центральном Гос. Архиве Литературы и Искусства в Москве в фонде талантливого историка В. Згуро сохранился сделанный им конспект вступительной лекции первого из этих курсов. Вот его начало, позволяющее уяснить себе методологию Чаянова: «Начиная курс истории города Москвы, мы должны указать, что мы не собираемся разбирать общей, так сказать, монументальной истории, а будем иметь в виду другую сторону истории — историю более интимную и скромную, чем первая». Далее он пояснял, что хотя это первый опыт такого рода в России, его метод отчасти подобен тому, которым руководились братья Гонкур, писавшие историю Парижа.

Другие аспекты деятельности Чаянова-историка стояли в тесной связи с его интересами как коллекционера. Он был известен как собиратель гравюр, икон, старых книг, фарфора<sup>4</sup> и пр. (После его ареста коллекции частью пропали, частью были проданы, в том числе в Гос. Музей Изобразительных Искусств имени Пушкина). Однако в отличие от большинства коллекционеров, Чаянову его собрания служили прямым подспорьем в его исследовательской работе. Чаянова специально интересовала и история собирательства в России. Именно этому была посвящена его брошюра «Московские собрания картин сто лет назад», изданная в 1917 г. (Впоследствии была перепечатана с сокращениями в журнале «Среди коллекционеров», 1924, № 1—4). Затем последовала статья «Собирательство в старой Москве. Собрания XVI и XVII вв.» (там же, 1922, № 1). Был он и одним из членов-учредителей «Русского общества друзей книги» (РОДК). По сохранившимся повесткам общества можно выяснить круг интересов Чаянова как историка книги в России. Вот названия его докладов: «Старые книги по истории Москвы» (22 ноября 1920 г.), «Типографские и издательские марки на книгах, изданных в Москве в конце XVIII и в начале XIX вв.» (3 июля 1925 г.), «Книжные украшения глубокой печати в русских изданиях XVIII в.» (8 октября 1926 г.), «Несколько изданий круга Новикова» (1 февраля 1929 г.). В материалах РОДК зафиксировано и выступление Чаянова на вечере, посвященном издателю Р. Саблину (14 мая 1926 г.) и др. Тематически сюда же относится и назначенный на 3 марта 1926 г. доклад в Ученой комиссии при музее «Старая

---

<sup>4</sup> В ж. «Среди коллекционеров» за 1921 г. была напечатана его заметка о ценах на русский фарфор.

Москва» — «О московских типографиях XVIII в.» Сотрудничал он и в «Обществе изучения русской усадьбы», руководимом В. Згуро.

Чаянов выступал не только как историк собирательства. На основе своей коллекции гравюр (собранной в основном во время заграничной поездки 1922—23 гг.) он составил полезную книжку «Старая западная гравюра», изданную в 1926 г. М. В. Сабашниковым<sup>5</sup>. Чаянов не только собирал гравюры, но и гравировал сам (хотя и дилетантски). Во время той же поездки, будучи в Гейдельберге, где у него родился сын Никита, Чаянов нарезал цветную ксилографию «Извещение о рождении сына», разосланную им знакомым. Эта работа была отмечена в статье П. Д. Эттингера «О мелочах гравюры» (ж. «Гравюра и книга», 1924, № 2—3, там же — воспроизведение) как признак оживления русского эстампа. Сделал Чаянов в 20-х гг. и несколько экслибрисов — себе, своей второй жене — искусствоведу О. Э. Чаяновой, историку книги и экономисту С. А. Клепикову. Очевидно, им же сделаны обложки к обоим пьесам. Отметим, что перед революцией Чаянов брал уроки рисования у известного К. Ф. Юона, который, возможно, и привил ему интерес к старой Москве. Занимался Чаянов и расчисткой икон по методу профессора В. И. Анисимова (выжиганием).

Характерен наконец искусствоведческий уклон Чаянова в его кооперативной деятельности. Он принял активное участие в деле спасения памятников искусства во время революции и гражданской войны. На кооперативном съезде в начале 1918 г. он был избран председателем просветительной комиссии и членом президиума Комитета по охране художественных сокровищ при Совете Всероссийских Кооперативных Съездов. Доклад его на съезде «Кооперация и художественные сокровища России» был напечатан в сборнике «Кооперация и искусство», М., 1919. (См. также его статью «Кооперация и художественная культура» в сборнике «Рабочий мир», М., 1918). И здесь мы вплотную подходим к общественной и политической деятельности Чаянова.

Связанный (в том числе и через своего тестя В. Н. Григорьева) с народнической традицией, Чаянов близко стоял к партии трудящихся и к народно-социалистической партии. Но вообще его политическая деятельность никогда не была особенно активной, — ибо его основные интересы лежали в более мирной плоскости, и характер его мало подходил для повседневного участия в политической борьбе. (Поэтому особенно трагично, что он стал жертвой этой борьбы). Однако при случае он не колебался

---

<sup>5</sup> На нее была положительная рецензия художника и искусствоведа Б. Земенкова в ж. «Советское искусство», 1927, № 1. Рукопись книги, подготовленная ко 2-му изданию, хранится в архиве С. Клепикова (рукописный отд. Б-ки им. Ленина), первоначальный вариант «Руководства для собирания гравюр» — у А. В. Бахраха.

выявлять свою позицию и высказывать свои взгляды печатно. После февральской революции он принимал активное участие в работе Главного Земельного Комитета (как до того — в Лиге Аграрных Реформ). Во время одной из его сессий он оказался невольным свидетелем т. н. «июньских дней». Его впечатления отразились в очерке «Петроградский кошмар» (газета «Власть народа» № 59 от 6 июля 1917 г.), в котором ярко передан хаос, охвативший растерянную столицу: «Санкт-Петербург Достоевского вылез из линий Васильевского острова, из переулков Выборгской стороны и залил, размыл в своих бурных порывах Пушкинский Петербург» — пишет он пером писателя, но не политика. Этот взгляд человека, далекого от злободневных политических расчетов и всецело преданного созидательным задачам культуры, отчетливо виден и в прочих немногочисленных его публицистических выступлениях. Так, в 1918 г. он пишет в заметке по поводу выселения из квартиры профессора Фортунатова с характерным заглавием «Нечто совершенно непостижимое» (газ. «Наша родина», 1918, № 39): «Я вполне понимаю, что в пылу политической борьбы можно не считаться ни с отдельными личностями, как бы ценны они ни были, ни с требованиями науки, — можно отправить на эшафот Лавуазье и засадить Н. Морозова в Шлиссельбургскую крепость». К сожалению, люди типа Чаянова, хотя их было и не так мало в среде русской интеллигенции того времени, большого влияния на ход событий оказать не смогли. Однако известную роль Чаянов в этот период сыграл. В июне 1917 г. он был выдвинут кандидатом народных социалистов и трудовиков в Московскую городскую думу (был ли он избран — мы не знаем), он участвовал в т. н. Государственном Совещании и пр. А 13 октября 1917 г. в печати появилось сообщение, что преподаватель Сельскохозяйственной Академии А. В. Чаянов назначен товарищем министра земледелия. Можно полагать, что с его помощью земельная политика Временного правительства могла бы сдвинуться с мертвой точки и дать определенные позитивные результаты. Было, однако, уже слишком поздно...

При советской власти Чаянов продолжал свою работу и между прочим участвовал во «Всероссийском Комитете помощи голодающим» (1921). Однако репрессии против этого комитета, закончившиеся высылкой ряда его членов (С. Прокоповича, Е. Кусковой, М. Осоргина и др.) за границу, Чаянова почти не коснулись. Так как он был не только общественным деятелем, но и специалистом-практиком, он оказался нужен новой власти. Передают, что Ленин сказал по его адресу: «Нам сейчас умные головы нужны, их у нас мало осталось». Чаянов стал одним из создателей советской кооперации, членом коллегии Наркомзема, позднее — директором Научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономики и Конъюнктурного Института. Чаянов бывал в научных командировках за границей: в 1922—23 гг. — в Лондоне, Берлине, Гейдельберге, Фрайберге (он должен был поехать и в Египет, но это не осуществилось), в 1927—28 гг. — в Берлине



и Париже<sup>6</sup>. Во время этих поездок он встречался со своими прежними единомышленниками и друзьями, которые предлагали ему остаться за рубежом, но он считал, что его место на родине, где, как ему казалось, он может принести пользу народу. Во время поездок он печатался в ряде берлинских изданий (немецких), а также в журнале «Новая русская книга» (1922, № 5).

В 20-х гг. Чайнов вместе с женой, С. А. Клепиковым и искусствоведам Н. А. Гейнике собирался создать «Издательство трех негров», в котором хотел издать свои, очевидно, так и не написанные, книги (которые были как бы анонсированы в газете «Зодий» — о которой см. ниже), — но этот план не осуществился. Но вообще его литературная деятельность получила известное признание. Готовилось отдельное издание его «Фантастических повестей». В конце 1928 г. он был принят во Всероссийский Союз Писателей. К сожалению, хранившаяся в Институте Мировой Литературы (Москва) его анкета от 10 декабря 1928 г. пропала (возможно, была уничтожена).

Есть глухие сведения о том, что Чайнов по специальному заданию Сталина написал в конце 20-х гг. книгу «Автаркия (изолированное государство)», что вполне понятно в свете изоляционистских тенденций Сталина этого периода, когда им закладывались экономические основы советского государства. Эта книга, очевидно, находилась в связи с некоторыми утопическими тенденциями, присущими и экономическим работам Чайнова. Отметим, что еще в 1921 г. им была опубликована работа «Опыты изучения изолированного государства» («Труды Высшего семинария сельскохозяйственной экономики и политики», М., 1921) — об экономике острова как замкнутой хозяйственной единицы, а позднее — статья «Возможное будущее сельского хозяйства» (сб. «Жизнь и техника будущего», М., 1928).

Отметим еще, в дополнение к сказанному об искусствovedческих работах Чайнова, несомненное и активное участие его (подтверждаемое и современниками) в работах его второй жены О. Э. Чайновой<sup>7</sup> по истории русского театра — в статье о театре в Петровско-Разумовском (ж. «Среди коллекционеров», 1924 г.), в брошюре «Торжество муз», М., 1928 и особенно в капитальной монографии «Театр Медокса». Говорят, что т. н. «Черные

---

<sup>6</sup> Газета «Тимирязевка» в № 10—11 от 8 июля 1928 г. сообщала, что Чайнов с декабря 1927 г. по февраль 1928 г. был в командировке за границей. Тут же в «Почтовом ящике» был ответ ему: «Ваши воспоминания поместим в будущем году». Кроме воспоминаний о Худякове, они, видимо, света не увидели.

<sup>7</sup> Дочь меньшевика Э. Гуревича (Смирнова), воспитывалась в семье Прокоповича и Кусковой. Родилась в 1897 г. Чайнов женился на ней в 1922 г. Занималась также исследованием творчества И. Крамского. На помощь Чайнова в своих исторических и искусствоведческих работах указывал и А. С. Клепиков («Библиография печатных планов г. Москвы 16—19 вв.» и др.).

книги» (гостевые) академического санатория в Узком (бывшее имение Трубецких, где умер Вл. Соловьев) хранят немало его интересных записей.

Однако закончить свою жизнь, «выполнив все намеченное в одной из его юношеских записок, как программа жизни... созерцая мир», как было полусхоту написано им в газете «Зодий» (см. ниже) о себе под именем Арсения Брагина, ему не было суждено. В июле 1929 г. Чаянов был арестован. Его арест был связан с общим разгромом Сельскохозяйственной Академии и репрессиями против цвета ее профессуры (А. Г. Дояренко, А. Н. Челинцева, Н. П. Макарова и многих других).

Старый московский букинист Э. Ф. Ципельзон прочел как-то автору этих строк запись из своего дневника этих лет. Смысл ее сводился к следующему: «Из имен арестованных в последнее время вредителей меня особенно занимают следующие — Н. В. Некрасов [бывший министр Временного правительства, в советское время — кооператор], Е. В. Тарле и Чаянов. Главным образом потому что все это были мои постоянные покупатели. Хорошо помню разговор с Чаяновым незадолго до его ареста. Он только что вернулся из-за границы, был полон планов, оптимизма, говорил о покупке каких-то американских машин. Что же могло толкнуть его и остальных на это? Не понимаю». Не понимал не только он. Не понимал никто, кроме Сталина и его мафии.

Нет смысла сейчас вспоминать имена политических негодяев, делавших карьеру на травле передовых ученых и останавливаясь на всех деталях этой травли. Приведем лишь цитату из немецкой социалистической газеты «Vorwärts», которую не постыдились тогда перевести и опубликовать в советской печати (октябрь 1930 г.): «Видные профессора и экономисты, как Кондратьев, Юровский и Рамзин, пионеры русской кооперации Садырин, Чаянов, Коробов, старые социалистические ученые и публицисты, как Громан, Базаров, Суханов, люди, которые десятки лет находились в социалистическом или демократическом движении, которые пожертвовали самое дорогое — свою политическую самостоятельность, право на политическую деятельность и критику для того, чтобы лояльно работать специалистами, сотрудничая с советским правительством, которые содействовали на ответственных постах созданию основ советского хозяйства, якобы сейчас устроили заговор с помощью английского золота для разрушения советского хозяйства, «организации голода в стране» и «реставрации власти капиталистов и помещиков».

В серии последовавших процессов (меньшевики, Промпартия и др.) процесс группы Кондратьева — Чаянова был сделан закрытым. Как рассказывают, это было сделано именно из-за Чаянова, так как следствие сочло его неврастеником и испугалось, что он может сорвать инсценировку, которая так блестяще удалась в остальных случаях. (Укажем, между прочим, что ни один из этих сфабрикованных процессов не был пересмотрен). Чаянов и другие лица, проходившие по этому процессу, были осуждены

на сравнительно небольшие сроки. Чаянов провел пять лет в камере Суздальской тюрьмы. По свидетельству разделявшего с ним заключение профессора Н. П. Макарова Чаянов составил за время заключения кулинарную книгу (что, очевидно, было вызвано отсутствием нормальной еды), а также написал (вероятно, отчасти по местным материалам) роман «Юрий Суздальский», где давал широкую историческую панораму Руси XIII века. Судьба этих рукописей неизвестна.

После отбытия заключения Чаянов был отправлен в ссылку в Алма-Ату, где был привлечен к работе по специальности. Однако заключение его на этом не кончилось. Вот что написал в частном письме автору этих строк писатель Ю. А. Домбровский, находившийся одновременно с ним в ссылке: «К сожалению, об А. В. я знаю очень мало. Видел я его — дай Бог памяти — в 35—36 годах в комендатуре НКВД, куда мы, ссыльные, ходили на регистрацию по 1 и 15 числам каждого месяца. У меня остался в памяти высокий седоватый худощавый человек с черной бородкой...» Студенты сельскохозяйственного института, где тогда преподавал Чаянов, рассказывали Домбровскому, «какую провокацию устроили «органы» А. В. Ему предложили выступить на каком-то праздничном собрании института, а когда он выступил и сказал очень простую и вдохновенную речь о науке вообще и о долге агронома — речь, к которой придрачься было невозможно — печать подняла вой: зачем предоставили трибуну врагу? И как так? Говорил, говорил, а о том, что он — враг и не сказал? Где его признания своих ошибок? После этого (и собрания СХИ) А. В. исчез из Алма-Аты». По нашим сведениям Чаянов был вновь арестован в 1938 г. и расстрелян 20 марта 1939 г. во дворе алма-атинской тюрьмы. Так трагически окончил жизнь один из выдающихся русских людей своего времени.

## 2.

Выше мы так подробно остановились на многообразной деятельности Чаянова для того, чтобы рельефнее показать, на какой почве возникли его романтические повести, которые он выпускал с 1918 по 1928 гг. под псевдонимом «Московский ботаник Х.» Всего их было пять книжечек — «История парикмахерской куклы или Последняя любовь московского архитектора М.» (М., 1918), «Венедиктов или Достопамятные события жизни моей» (М., 1921), «Венецианское зеркало или Диковинные похождения стеклянного человека» (Берлин, 1923), «Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям» (М., 1924) и «Юлия или Встречи под Новодевичем» (М., 1928). На трех из них по образцу изданий времен французской революции стояли даты: II, IV, VII год Республики — по якобинскому календарю.

В архиве Института Мировой Литературы (Москва) сохранился листок следущего содержания: «Заглавную букву моего литературного имени часто читают как латинское «Икс». Это глубо-

кое заблуждение, ибо она есть самое подлинное российское «Ха!» Ботаник Х. Москва. 15 октября 1925 г.» Шутка это или нет, — во всяком случае очевидно, что этот псевдоним, как и заголовки, восходит к тем лубочным книжкам, которые О. Сенковский окрестил в свое время «московскими романами». Среди авторов их был и некий Х (С. или Н. Вяземский?). Вот названия его повестей: «Танька-разбойница ростокинская или царские терема» (М., 1834), «Сокольники» (М., 1832), «Вечера на кладбище. Оригинальная повесть из рассказов могильщика» (М., 1837). Вспомним здесь и более ранние переводные книжки: «Юлия или подземелья Мадзини» (М., 1802), «Юлия или история сердца человеческого» (М., 1803, перевод из Анны Радклиф)<sup>8</sup>.

Первая повесть посвящена «памяти великого мастера Э. Т. А. Гофмана». Однако именно она наиболее современна — во всяком случае, хронологически. Действие ее происходит, очевидно, перед первой мировой войной. Пресыщенный жизнью московский архитектор М.<sup>9</sup> случайно видит в витрине парикмахерской восковой бюст женщины, поразивший его воображение, который оказывается изображением одной из известных артисток Генрихсон — сиамских близнецов. Архитектор долго разыскивает их по всей Европе, пока не сталкивается с ними в Венеции. Завязывается бурный роман с одной из сестер, кончающийся катастрофой. Утративший смысл жизни архитектор возвращается в Москву.

Вероятно этот, хотя и исключительный, но возможный в реальности сюжет, основан на некоторых исторических случаях. Вот что писала, например, в июле 1874 г. газета «Рижский вестник»: «В одном из заседаний берлинского Медицинского общества профессор Вирхов сделал весьма интересное сообщение... Это случай уродства... и состоит в том, что две молодые африканки, сестры Милли и Христина сращены вместе... Они хорошо бегают на своих четырех ногах, танцуют, умеют петь и умственно довольно развитые. Родились они в 1851 году в Северной Каролине от негра и индианки... Этот случай уродства замечательно сходен с другим, который приводил в удивление всю Европу более 100 лет назад: это были две венгерские сестры Елена и Юдифь, которых один епископ заключил в монастырь».

Повесть написана живо и занимательно, но пока еще не вполне опытной рукой. Действие несколько затянуто, развязка фактически отсутствует, есть эпизоды, не имеющие никакого отноше-

---

<sup>8</sup> Но, возможно, псевдоним взят из перевода повести Гофмана под названием «Ботаник» (в оригинале “*Datura fastuosa*”), напечатанной в «Московском телеграфе» 1826 года.

<sup>9</sup> По словам современников в виду имелся архитектор Владимир Матвеевич Маят — строитель особняка Второва близ Арбата, виллы Рябушинского «Черный лебедь» и пр. Ср. «московский адвокат Н.» в одновременно опубликованном рассказе «Вера Морелли» Г. Муратова (сборник «Герои и героини», М., 1918).

ния к сюжету (например, сами по себе, возможно, и интересные рассуждения о сельскохозяйственных машинах и кооперативах в Италии в главе «Безумие»). Нужно отметить оригинальные иронические эпиграфы — из гороскопов, исторических хроник, путеводителей, и авторов от Эдгара По (большого мастера подобных эпиграфов), Карамзина и Баратынского до М. Кузмина. Есть некоторые погрешности против языка (отметим, что Чайнов в быту всегда сохранял своеобразное правописание, которое мы в приводимых цитатах иногда исправляем), но в то же время некоторая неправильность авторской речи была у него особенностью стиля, подчас тонкой стилизацией. Например — «искал в провинциальной глуши собраться с мыслями». Здесь уже тщательно прослежена историческая и культурная топография Москвы, да и других упоминаемых городов. Повесть выдержана в несколько пародийно-ироническом ключе, однако временами в ней проглядывает и серьезность автора. Во всяком случае эту вещь можно скорее рассматривать как заявку на жанр.

Тем разительнее качественный сдвиг к одной из лучших его повестей — «Венедиктов». Эту вещь можно считать классическим образцом русской романтической повести. Действие ее происходит в 1805—06 гг. Некто Петр Петрович Венедиктов случайно выигрывает в «клубе лондонских дьяволов» несколько золотых треугольников, дающих ему таинственную власть над несколькими человеческими душами, в том числе и над душой рассказчика Булгакова. В действии участвует и некий офицер Сейдлиц, появившийся на свет будто бы необыкновенным образом — из чрева мужчины, заколдованного Месмером. Между этими тремя персонажами и завязывается борьба за сердце артистки Медоксова театра Настеньки. По схеме сказки или лубочного романа герой преодолевает ряд препятствий для достижения возлюбленной.

Повесть написана с несомненным мастерством. Впечатляют картины «клуба дьяволов», московской осени, тумана, в котором происходят невероятные события. В повесть органически включены приметы ушедшей Москвы — приход Благовещенья, что в Садовниках; Спас, что в Копье; церковь Успенья, что на Могильцах; церковь Настасьи Узорешительницы. Знание старой Москвы дает Чайнову возможность выстроить, как в панораме, ее объемный облик («полоса Камер-Коллежского вала», «напластования марьино-рошинских домиков»). В повести на заднем плане, создавая исторический фон, мелькают фигуры реальных людей — ректора Московского университетского пансиона А. А. Прокоповича-Антонского, историка К. Калайдовича и др. Воссозданию исторического колорита служит и старомодно-обстоятельный стиль рассказчика (образцом которого, на наш взгляд, послужила отчасти «Капитанская дочка», как известно, сама стилизованная под речь конца XVIII в.), мифологические сравнения в духе того времени («новая московская Даная» и пр.). В речь Венедиктова остроумно вплетена державинская цитата. Единственный

злободневный намек — «В те времена [заграничные] паспорта получались столь же трудно, как и теперь».

«Венедиктов» вызвал некоторые, хотя и скудные, отклики в печати. Так, в статье «Новая беллетристика» в московском журнале «Творчество» (№ 1—4 за 1922 г.) между прочим отмечалась «своеобразная стилизация, граничащая с мистическим романтизмом, навеянным Э. Т. А. Гофманом, — книжечки неизвестного автора, скрывшегося под псевдонимом «Ботаник X» — «Приключения парикмахерской куклы» и «Венедиктов». Сурово отозвался о книжке в своей заметке «НЭП и книги» («Красная газета» № 34 от 12.II.1922 г.) известный тогда советский публицист А. Гай-Меньшой, усмотревший в «Венедиктове» «упражнение в стилистике», «нелюбовь к советской власти», «мистику, одобренную чуть порнографией». Впрочем, он признает сквозь зубы, что это «мастерская безделушка». Позднее А. Б[ахрах] в берлинской газете «Дни» (№ 96 от 22.II.1923 г.) положительно оценит «Венедиктова» и укажет, что Чайанов идет в своих повестях от Гофмана и В. Ф. Одоевского.

Думается, традиция может быть раскрыта более подробно. Так, сцена игры дьяволов на человеческие души несомненно восходит отчасти к «Уединенному домику на Васильевском» — повести, рассказанной Пушкиным и записанной В. П. Титовым (в 1913 г. была переиздана). Образ демонического героя, пользующегося дьявольской властью над людьми, на все лады варьируется в различных образцах русской и мировой прозы периода романтизма. Назовем, например, повести «Сегелиель» В. Одоевского, «Кто же он?» Н. Мельгунова, «Искуситель» М. Загоскина. Наконец, вот еще любопытное совпадение. Сцена, когда Венедиктов заставляет Булгакова потехи ради выполнять все его прихоти («Плачь, говорю тебе!», «Смейся, рабская душа!») поразительно напоминает сцену из вставной новеллы «Алиса Пинчен» романа американского романтика Н. Готорна «Дом о семи шпильях» («Смейся, Алиса!», «Плачь, Алиса!»), изданного в русском переводе в 1856 г., который вполне мог быть известен Чайанову — знатоку старой книги.

Все эти примеры, впрочем, несколько не умаляют оригинальности и своеобразия повести. Недавно исследовательница М. О. Чудакова указала («Условия существования» — журнал «В мире книг», Москва, 1974, № 12) на наличие «Венедиктова» в библиотеке М. А. Булгакова — книжки, которая «пользовалась, по словам жены, особенной его любовью». Чудакова усматривает следы влияния повести на «Театральный роман» М. Булгакова. На наш взгляд, скорее можно было бы говорить о ее влиянии на inferнальную линию «Мастера и Маргариты».

В следующей повести, «Венецианское зеркало», представлена излюбленная романтиками тема двойника. Зародыш повести можно заметить в венецианской главе «Парикмахерской куклы», где упомянуты «призрачные зеркала», изготовляющиеся в Венеции. Время действия, судя по отдельным деталям, — начало XX в. — примерно то же, что и в «Парикмахерской кукле». Герой повести

Алексей покупает старинное венецианское зеркало. Материализованному отражению героя удается поменяться с ним местами, завладеть его домом и женой, а герой обречен лишь бессильно повторять все действия своего бывшего отражения. Однако в конце концов он все же вырывается из стеклянного плена и вновь подчиняет себе отражение.

Повесть эта, по нашему мнению, слабее остальных. Дело даже не в откровенной несамостоятельности сюжета. Действительно, в числе предшественников ее можно назвать и «Вильяма Вильсона» Э. По, и «Тень» Г. Х. Андерсена, и популярный в то время фильм П. Вегенера «Пражский студент» (1914, по сюжету Г. Г. Эверса), и рассказ Мориса Ренара «Странная участь Буванкура» (1905), который мог быть известен Чайнову по русскому изданию его книги «Необычайные рассказы» (Пб., 1912). Из русских авторов укажем на рассказ В. Брюсова «В зеркале» (1902—06) в сборнике «Земная ось» (1907), а также на рассказ уже упоминавшегося П. Муратова «Венецианское зеркало» (чья проза, хотя и более рационалистически построенная и суховатая, в какой-то мере параллельна чайновской) в сборнике «Магические рассказы» (М., 1922).

Но повторяем — дело не в этом, а в том, что вещь эта наиболее пропитана литературщиной. Здесь Чайнов отрывается от исторической почвы, составлявшей его сильную сторону, и делает шаг в сторону салонной беллетристики (тем более, что здесь чрезмерное место занимает эротический элемент). Надо сказать, что слабость повести почувствовали и сам автор и критик Эрг (Р. Гуль), написавший в берлинской газете «Накануне» (от 9.X.1923): «У Ботаника Х. доводилось читать интересные вещи. «Венецианское зеркало» — одна из неудачных». Была, впрочем, и положительная рецензия В. Л[урье], видимо незнакомой с его прежними вещами, в берлинской же газете «Дни» (№ 284 от 7.X.1923), где отмечалось, что «повесть удачна сочетанием старой романтики с современностью».

Повесть эта писалась Чайновым в 1922—23 гг. в заграничной командировке в Лондоне и (окончательная редакция) в Гейдельберге. (Уцелела рукопись с небольшими разночтениями). Во время этой поездки в Берлине при активной помощи А. В. Бахраха и под его непосредственным наблюдением и удалось издать эту повесть. Она вышла в 1923 г. с издательской маркой «Геликона» (А. Г. Вишняк), хотя и была издана за счет автора.

У А. В. Бахраха сохранился ряд писем Чайнова, связанных с этим изданием, которыми он любезно разрешил нам воспользоваться. Из них между прочим явствует, что Чайнов читал первую редакцию повести в Берлине у М. А. Осоргина. Наиболее интересно письмо от 8 мая 1923 г. (видимо из Гейдельберга), в котором Чайнов пишет: «Будьте такие добрые также и напишите мне откровенно — стоит ли вообще издавать эту повесть и не лучше ли ее присоединить к портфелю моих неиздаваемых рукописей? Мне лично кажется, что «Зеркало» немного замучено многочисленными переделками, а работать над ним дальше

я не могу, т. к. совершенно вышел из круга его психологии. Вам, как первому моему критику, принадлежит решающее слово. Если Вы думаете, что издавать стоит, то нужно также подумать и о художнике, ибо я хотел сделать, хотя бы как у «Венедиктова» обложку, фронтоспись [так в оригинале] и концовку. Еще одно — книжка должна выйти в месячный срок — возможно ли это? В Москве я бы ее выпустил в 4 дня». (Книжку иллюстрировать не удалось).

В тех же письмах есть сведения и о новой повести, изданной в 1924 г. в Москве. Но написана она была в Гейдельберге. В постскриптуме к цитированному письму Чайнов пишет: «Сейчас, поскольку остается время от научных работ, пишу большой роман «Необычайные, но истинные похождения Ф. Мих. Бутурлина» (XVIII в. Москва), который меня удовлетворяет больше, чем в свое время удовлетворяли другие повести». В письме от 22 мая 1923 г. он сообщает, что «Бутурлин написан весь и сейчас переписывается набело». В письме же от 2 июня, говоря о своем предстоящем 10 июня приезде в Берлин, он пишет: «Кстати я привезу с собой совершенно законченного «Бутурлина» и если в течении 10 и 11 и до 7 часов вечера 12 у Вас и Рах[или] Гри[горьевны] [Осоргиной] найдется время и охота в течение 1,5 часов слушать сногшибательную фантастику, я бы с большой радостью прочел его Вам и тем, кого Вы найдете нужным пригласить на это чтение».

«Бутурлин» продолжает линию «Венедиктова» и еще более укоренен в эпохе — в конце царствования Екатерины. Повесть тщательно инкрустирована эпиграфами, в основном, из литературы тех лет. Здесь мы видим имена Н. Поповского, Н. Макарова, Н. Страхова, В. Рубана, а также цитаты из «Расчетистого картошного игрока 1796 г.» и поваренной книги. Так же тщательно разработан и исторический фон — здесь Английский клуб, и Параша Жемчугова, и Григорий Орлов. Как и в «Венедиктове», упомянуты московские мартинисты с Новиковым и Шварцем во главе. Сюжет же отличается стремительным развитием.

Спеша на свидание, юный Бутурлин заблудился и нечаянно попал в гости к давно умершему графу Якову Вилимовичу Брюсу, пользовавшемуся репутацией мага и чародея. (Ср. прием Гофмана в «Повелителе блох» — участие в действии давно умерших ученых Левенхука и Сваммердама). Колдун Брюс, как выясняется, занят тем, что раскладывает пасьянсы из человеческих судеб. Бутурлин ссорится с ним, и тот в отместку нарочито запутывает его судьбу. Бутурлин пропускает свидание, едва спасается от рук иллюминатов, в среду которых случайно попадает, и, обвиненный в убийстве будочника, вынужден бежать за границу. Там он разыскивает некую инкунабулу, заключающую в себе тайну его рождения, переживает множество приключений, встречается с женщинами-русалками и пр. Вернувшись затем в Москву, он ведет нелепый образ жизни, запутавшись в отношениях с несколькими женщинами. Карты его жизни роковым образом спутаны зловецем Брюсом. Он вновь сталкивается с ним, в резуль-



тате чего сгорает его дом и с ним уже безразличная ему тайна его рождения. Как видим — повесть кончается той же минорной нотой, что и «Парикмахерская кукла», с которой она схожа и характером сюжетного построения.

Надо сказать, что стиль Чаянова все время совершенствуется. Вот к примеру начало повести: «Догорали дни московского бабьего лета. Белые плотные облака неподвижно стояли на синем, почти кубовом небе. Золото осенних кленов расцветивало Коломенское и склоны Нескучного. В воздухе реяла паутина, а по ночам холодные лунные тени летящих облаков тревожно проносились по дорожкам московских садов». По многообразию происходящего в ней эта вещь может и в самом деле считаться небольшим романом. Недостаток ее, пожалуй, лишь в чрезмерном обилии приключений, что, впрочем, объясняется общим замыслом — пасьянсом Брюса. Укажем вообще на емкость и лаконизм чаяновского письма — эта самая большая его повесть едва занимает сотню страниц малого формата.

Но вершиною прозы Чаянова может считаться последняя из известных нам повестей: «Юлия или Встречи под Новодевичем». Написанная уже вполне уверенной рукой — в форме дневника — она сразу же вводит читателя в середину действия без предварительной экспозиции, как прежде. Написанная ясным и прозрачным языком, она воспринимается как подлинный текст своего времени (действие отнесено к 1827 г.). «Юлия» уснащена (но не перенасыщена) деталями старого быта — биллиардными терминами, рассуждениями о видах трубок и табаков, о мастях лошадей. На фоне как всегда со вкусом выписанной Москвы разворачивается история рассказчика — заурядного светского молодого человека, который влюбляется в неизвестную, временами таинственно появляющуюся в городе и охраняемую зловецем горбуном. В конце концов оказывается, что это — призрак — фантом умершей жены горбуна, который тому удается выдувать из особого рода курительной трубки.

В «Юлии» Чаянов достигает виртуозности в воспроизведении обиходного стиля эпохи. Чего стоит, например, рассказ о проделках иллюминатов с репликами типа: «В те времена в Москве подвизались мартинисты и среди них некий барон Шредер» или: «Рассказ недурен, только надо думать, Бакастов заливает», или: «Добрейший Карл Августович, наш медикус и светила». (Здесь, кстати, тоже не обошлось без намеков на знакомых — «гишпанский полковник Клепиканус» образован от имени упоминавшегося уже С. Клепикова, а чин явно происходит от того «гишпанского полковника», за которого в свое время выдавал себя в России известный Калиостро, — тем более, что и история-то вполне в духе рассказывавшегося о нем).

Кое в чем эта повесть сильно отличается от предыдущих. Элемент литературной игры, еще столь сильный в «Бутурлине», здесь не выходит за пределы стилистики. Благополучие, достигнутое в конце рассказчиком, оказывается построенным на чужой трагедии, и повесть оставляет щемящее впечатление какой-то

неясной тревоги. Не исключено, что она, как и обе предыдущие, была написана во время последней поездки за границу, где очевидно и писалось и дышалось в эти годы Чаянову легче (хронологически это вполне возможно). Как явствует из письма искусствоведа П. Е. Корнилову (от 9.X.1928), повесть разошлась почти сразу после выхода в свет весной 1928 г. Эта вещь утвердила репутацию Чаянова как беллетриста.

Видимо, последним упомянул в печати о его повестях литературовед Т. М. Левит, сам вскоре репрессированный. В своей содержательной статье «Гофман в русской литературе» (при т. 6 «Собрания сочинений» Гофмана, 1930) он перечисляет ряд интересных русских авторов начала XX в., неудачно, впрочем, и огульно поименовав их «подражателями Гофмана». Среди них фигурирует и «один известный экономист, анонимно выпускавший брошюры («Любовь парикмахерской куклы» и ряд других)». В это время Чаянов был уже осужден.

Отметим еще, что по словам уже упоминавшегося Э. Ципельзона, в одном его альбоме было вписано начало повести (очевидно, так и не дописанной Чаяновым), где рассказывалось о некоей призрачной руке, крадущей в антикварной лавке ценнейшую книгу (но возможно, что это была просто шуточная запись, большим любителем которых был Чаянов<sup>10</sup>).

Так как все эти книжки были изданы как изящные библиофильские издания, следует сказать и об их иллюстраторах. «Парикмахерскую куклу» оформил известный в 20-е годы Алексей Александрович Рыбников (1887—1949) под псевдонимом «антрополог А». Вначале гравюры к ней резал известный И. Н. Павлов, но работы не закончил. Рыбников был свояком Чаянова (по первому его браку) и, называя в своей утопии (см. ниже) «брата Алексея», Чаянов имел в виду его (там же упомянута живопись «старика Рыбникова»). Рыбников был оригинальным художником, успешно переносившим приемы иконописи в станко-

---

<sup>10</sup> Приведем, кстати, некоторые известные нам автографы Чаянова. Два автографа Бахраху: на «Обманщиках» — «Дорогому тезке и милому критику снисходительному от автора с глубокой благодарностью. А. Чаянов. Берлин. 14.III.23 г.»; на «Парикмахерской кукле» — «Дорогому тезке и рецензенту от признательного автора. 13.III.23 г.» Автограф Клепикову на «Венецианском зеркале» — «Милому Сократу Александровичу в знак сублимации от автора». Искусствоведа Г. В. Жидкову на «Бутурлине» — «Милому Герке, ныне эволюционировавшему в почтенного Германа Васильевича сына Жидкова, ученого, изрядно во всех элоквенциях натуры и преуспевающего, в память первых новослободских иконных восторгов и в знак высоких надежд на будущие Recherche'и и Untersuchung'и от автора. 9 апреля 1924. Москва.»; на «Юлии» искусствоведа Корнилову — «Глубокоуважаемому П. Е. Корнилову от книги сей автора А. Чаянова. 10 декабря 1928. Разумовское».

вую живопись. Выставка его в 1918 г. имела большой успех. Однако известен он стал своими иллюстрациями — гравюрами на дереве (менее оригинальными). Он иллюстрировал, например, «Нос» Гоголя, «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина, книги Р. Акульшина, П. Романова и др. Позднее он стал видным реставратором, специалистом по технике живописи, хранителем Третьяковской галереи. Также он сделал экслибрисы для Чайнова (гравюра на дереве «Георгий Победоносец», 1918) и его первой жены.

«Венедиктов» и «Бутурлин» были иллюстрированы «фитопатологом У.» (художницей-дилетанткой Н. А. Ушаковой, немного в подражание Рыбникову). Обложка «Путешествия моего брата Алексея» выполнена неким В. С. (по «Словарию монограмм советских художников-графиков», составленному тем же С. Клепиковым, подобное написание соответствует В. В. Спасскому и В. Ф. Свирослому — так что здесь вопрос неясен). И наконец «Юлия» была иллюстрирована известным графиком романтического направления (таковы, например, его иллюстрации к Гофману) Алексеем Ильичем Кравченко (названным прямо — без псевдонима). Для невышедшего издания повестей Чайнова Кравченко награвировал десять иллюстраций (по две к каждой). Кроме одной (карточный пасьянс у Брюса), они никогда не воспроизводились в печати.

Что же, резюмируя, мы можем сказать о чайновских повестях? Чайнову, на наш взгляд, удалось реставрировать русскую романтическую повесть — более того — завершить процесс ее создания с опозданием почти в сто лет. Дело в том, что по нашему мнению, в свое время русская романтическая проза так до конца и не сформировалась, — элемент подражания немецким (Гофман, Тик, Ламонт Фуке, Жан Поль) и другим (В. Ирвинг, напр.) писателям был слишком силен. Неслучайно многие авторы, не находя прототипов своих героев в русской реальности, переносили действие своих произведений в Германию или на худой конец избирали своими героями иностранцев.

Попытки создания русской романтической повести не прекращались в течение всего XIX века (А. К. Толстой, И. С. Тургенев и ряд других) и начала XX в., причем местом действия теперь чаще всего избирали Италию. И лишь Чайнов, будучи знатоком русской истории и имея перед своими предшественниками преимущество — временную перспективу в сто лет, сумел создать эту повесть. Т. е. как бы воспользовавшись романтической дымкой прошлого, которая окутала бытовую фон несостоявшегося русского романтизма, и сумев органически ввести в него фантастику, он вдохнул в нее жизнь.

Чайнов не старался, подобно многим своим предшественникам, «разоблачить» фантастическое, дать его рациональное объяснение (другое дело, что иногда у него сюжет не фантастический, но исключительный — близнецы в «Парикмахерской кукле»). Впрочем, он, подобно своим предшественникам, чурается «дьявольской» чудесной силы (Брюс, иллюминаты и пр.) — она и влечет

его и пугает — он осуждает ее, хотя уже и не с позиций церкви, а с позиции живой жизни (ср. в этом смысле «Посрамленный Калиостро» А. Н. Толстого). Но позиция его двойственна, и в предгрозовой атмосфере «Юлии» чувствуется желание автора уйти от страшной и неизбежной действительности в мир фантомов и мечты.

Во всех повестях сходный стержень — герой, преодолевая различные препятствия, добивается обладания своей возлюбленной. Но в отличие от своих сказочных прототипов сюжет уже несет на себе отпечаток нашего времени — образ возлюбленной двойтся, троятся, принимает странные формы, обладание оказывается непрочным, временным, герой не может преодолеть своей рефлексии и т. п. Есть, конечно, у Чаянова художественные просчеты — именно в развитии сюжета — недостаточно умелое сведение концов и пр. Повторим здесь же, что три исторические повести оказались у него удачнее двух «современных». Но во всяком случае это был наиболее значительный опыт создания в XX веке русской романтической повести.

### 3.

Нам остается рассмотреть произведение Чаянова, стоящее как бы на полпути между его научно-общественной и чисто литературной деятельностью и снискавшее наибольшую известность. Речь идет о «Путешествии моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», изданном в 1920 г. Госиздатом под псевдонимом — Иван Кремнев. Как рассказывают, книжка эта, достаточно неожиданная для времени и места издания, отпечатанная на неплохой бумаге (на что, конечно, обратили внимание недоброжелатели) и большим тиражом (20 тысяч экземпляров! Тираж других повестей Чаянова не превышал тысячи экземпляров), вышла в свет по личному указанию Ленина (что можно рассматривать двояко — или как пример ленинского относительного либерализма в печати, наряду с «Осколками разбитого вдребезги» А. Аверченко, или как тактический ход, имевший целью привлечь на свою сторону в условиях гражданской войны крестьянские массы). Очевидно, содействовал изданию и автор предисловия — известный журналист-большевик В. Воровский (псевдоним П. Орловский).

Что же представляет из себя эта повесть? Укажем сразу же, что художественный элемент здесь играет заведомо подчиненную роль и призван в общем лишь служить оформлением социальным построениям автора, что впрочем является неотъемлемой особенностью утопического жанра. Специфика же этой повести в том, что она, имея некоторое внешнее сходство с утопиями других авторов (в первую очередь, она явно ориентирована на такие книги Г. Уэллса, популярного тогда в России, как «Когда Спящий проснется», «Люди как боги» и др.), написана в отличие от них не во славу технократии, а направлена против нее.

Из русских предшественников Чаянова мы можем назвать В. Ф. Одоевского с его повестью «4998 год» (на которого Чаянов вообще несколько походит своим универсализмом; в этом плане обе утопии можно рассматривать как особый род той же романтической повести) и большевика-«ревизиониста» А. А. Богданова-Малиновского с его утопиями-предостережениями «Красная звезда» и «Инженер Мэнни».

Как большинство утопий, повесть начинается с почти немотивированного художественно перенесения героя из настоящего в будущее. Идеиная мотивация — разочарование его как в социалистических, так и в либеральных (П. Милюков, П. Новгородцев, Е. Кускова) проектах переустройства общества. И как альтернатива этим изжившим себя в сознании героя схемам предстает перед нами страна крестьянской утопии. Хотя действие происходит в 1984 г., совпадение даты с известной книгой Д. Орвелла следует признать любопытной случайностью.

Обратим прежде всего внимание на идеологический фундамент будущего общества. Несомненной смелостью в тех условиях является предсказание автором общего памятника Ленину, Керенскому и Милюкову («Для нас, — не без резона замечает человек из будущего, — в исторической перспективе они сотоварищи по одной революционной работе и поверьте, что теперешний москвич не очень-то помнит, какая между ними была разница»). Интересная коррективa — барельефные изображения на цоколе памятника деятелей разных лагерей, которые, вероятно, содействовали заложению основ будущей крестьянской России — «правый» большевик А. И. Рыков и «прогрессист» А. И. Коновалов соседствуют здесь с С. Н. Прокоповичем и С. С. Масловым. Среди настольной литературы будущего (названия, конечно, даны отчасти иронические) — труды меньшевиков В. Шера и Д. Рязанова (осужденных почти одновременно с Чаяновым), мемуары Е. Кусковой и пр. Все это показывает, что Чаянов питал надежды на некоторое демократическое единство, которое могло бы сложиться в России по окончании гражданской войны.

Однако прекраснодушием нарисованная Чаяновым утопия не отличается. В основе ее лежит довольно жесткий политический расчет. Идея рассредоточения городов, осуществленная в утопии, вызвана не только экономическими причинами, но и политическими. Она исходит из положения о том, «какую опасность представляет для демократического режима [для всякого — добавим — режима] огромные скопления городского населения». В основе управления лежит по сути дела диктатура — нечто вроде просвещенных и таинственных руководителей человеческих судеб из «Вильгельма Мейстера» Гете. (Это «люди искусства», противодействующие, однако, попыткам горожан установить «интеллигентную олигархию»).

Нельзя, конечно, сравнивать это правление с тем, какое нарисовано в зловещей утопии К. С. Мережковского «Рай земной» (Берлин, 1904). Но отметим, что автор все время остается несколько в стороне от рисуемой им картины всеобщего

благоденствия, а иногда устами своего alter ego (аттестованного «душителем крестьянского движения») даже резко протестует против утонченной тирании, за что тот и преследуется как подозрительный элемент. Можно сказать, что Чаянов объективно рассматривает этот проект как нечто неизбежное и логически доводит его до конца, стараясь все же выгородить в грядущей неизбежности какое-то место культуре. Итак, новый режим последовательно и неуклонно проводит раскассирование городов, делая их лишь средоточием учреждений и гостиниц. Еще любопытное совпадение — время решающего подавления технократической оппозиции отнесено к 1937 г.

Чаянов выступает запоздалым оппонентом марксистов в их споре против народничества 90-х гг. (В. Воронцов и др.). Это, так сказать, реванш народничества, сбрасывающего со счетов классовые группы, связанные с капитализмом — т. е. пролетариат, промышленную буржуазию и техническую интеллигенцию. Но так как с тех пор эти группы населения все же выросли, автор понимает, что без насилия одной части населения (несколько искусственного союза гуманитарной интеллигенции с крестьянством) над другой обойтись нельзя. Отсюда беглое, но многозначительное замечание человека будущего о том, что «в случае необходимости наши пулеметы работали не хуже большевистских». Оппозиционная часть населения, видимо, была насильственно посажена на землю по китайскому ныне образцу.

Капитализм в будущем обществе все же сохранен во вполне нэповских масштабах, «чтобы создать для товарищей кооператоров некоторую угрозу постоянной конкуренции и тем спасти их от постоянного застоя». Тут же раскрыты система государственного стимулирования развития хозяйства (что пока еще остается ахиллесовой пятой советского строя), система жестких прямых налогов на буржуазию и косвенных — на всех остальных, система кооперации, система рассредоточения государственного управления (совнархозы?) и госконтроля. Эти построения сближаются автором с экономическими проектами внутри большевистской партии (см. ссылку на «оппозиционеров» Ю. Ларина и В. Милютина).

Одним словом, нельзя отделаться от впечатления, что некоторые моменты из этой утопии были взяты на вооружение в процессе создания советского строя, как в период НЭПа, так и позднее. Отметим, что повесть несет в себе и черты политического памфлета. Замечается, например, что идеологи рабочего класса осуществляли свои идеалы методами «просвещенного абсолютизма», дается острая критика социализма как явления, «рожденного в застенках германской капиталистической фабрики» и потому лишённого духа творчества. Наконец автор указывает еще на одно большое место советского государства — на то, что «колоссальная доля прибавочной стоимости» поглощается бюрократией. В основе же хозяйственного уклада утопии лежит индивидуальное производство.

Известно, что труды Чаянова о роли индивидуального крестьянского хозяйства привлекали внимание в среде немецкой и австрийской социал-демократии (в т. ч. Отто Бауэра). Чаянов предвидит грядущее расщепление левого движения — у него упоминается о конфликте пяти эсеровских (эсеров он считает чисто интеллигентским течением) и двух коммунистических партий, и о том, что «мировое единство социалистической системы» разорвали «центробежные социальные силы». Почти мистическая диктатура не совсем увязывается с общим характером строя. Это по сути дела советский строй, но выросший более из советов крестьянских, чем рабочих, депутатов. То есть мы видим здесь крестьянский вариант советского социализма (выдвинутый в противоположность большевистскому плану индустриализации). Хотя функции государства по внешности и переросли в муниципальные, оно продолжает малозаметными путями направлять развитие общества в нужном ему направлении. Интересно написано о найденном чудесном балансе между интересами личности и общества (с оригинальными обобщениями типа «осознанная этика безнравственна»).

Налицо в утопии и система государственного покровительства искусству — напоминающая ту, которую мы видим сейчас в СССР, хотя и более рафинированная. Любопытно в этом плане упоминание о существовавшей одно время в утопии «моде на болонскую школу», с которой нередко сближают живопись соцреализма. И хотя у Чаянова действуют целые анонимные коллективы, создающие в огромных масштабах живопись, «почти неотличимую» от Питера Брейгеля Старшего (которого очень ценил Чаянов), вкус ему здесь явно изменяет, и, судя по описанию одной из картин, эти модернизированные Брейгели мало отличаются от современных ремесленников соцреализма. Оставим поэтому из уважения к Чаянову в стороне нарисованную им сомнительную картину развития утопических искусств с ее «барокко-футуризмом» и пр. (Скажем лишь в его защиту, что пророчествовать о будущих направлениях искусства несравненно труднее — если вообще возможно — нежели о социальном развитии общества).

Мы подошли к самому слабому месту чаяновской интеллигентско-крестьянской утопии. К тому, где он эклектически пытается совместить свои утонченные вкусы рафинированного интеллигента с эстетическими потребностями крестьянской России. Удивительно сочетая в своем лице разнообразнейшие таланты и интересы, он хотел бы видеть эту свою исключительность в основе государственного устройства. Достаточно сказать, что гимном крестьянской России служит «Прометей» А. Н. Скрябина — самое сложное и причудливое сочинение композитора. И надо сказать, что опытный журналист-автор предисловия сразу улавливает эту надуманную сторону утопии. Он пишет, в частности: «Именно изображая государство, где мелкое крестьянство является господствующим классом, надо понимать, что с ним внутренне неразрывно связаны колокола, белые рубашки тракторных полевых,

бабки и т. п., а никоим образом не картины Боттичелли, сотни фресков или парки на развалинах городов: последнее все «отсебятина», которую автор, сам любитель искусства, старается подкрасить скучную мелкомещанскую жизнь в стране утопии».

Неудачны и прозрения Чаянова относительно архитектуры. Картина открывшейся взору героя Москвы грустным и парадоксальным образом напоминает осуществляемый в настоящее время т. н. Генеральный план реконструкции Москвы, долженствующий завершить ликвидацию исторической Москвы, начатую еще в 20-х годах. (Напомним кстати, что Ле Корбюзье, предлагая свой план реконструкции Москвы, считал необходимым сохранение ее исторического центра). У Чаянова историческая Москва сохранилась, естественно, лучше, — цела, например, Сухарева башня (бывшая символом старой Москвы и снесенная в 1933 г.), Китайгородская стена; Храм Христа Спасителя разрушен, но остатки его оберегаются; модернистский Метрополь однако же не существует; не предвидел, конечно, Чаянов и переноса памятника Пушкину в 1949 г. с того места, где — любопытная деталь — «Наполеоном были повешены мнимые поджигатели Москвы». И новая Москва сооружается у него (озеленение центра с сохранением отдельных архитектурных групп) по проектам, увы, И. Жолтовского, который на деле, как известно, не столько разрушал небоскребы, сколько загромаждал города своими ложноклассическими палаццо, столь любезными сердцу Сталина, в т. н. период «украшательства» (чего Чаянов, конечно, тоже предвидеть не мог).

Много в утопии и других занятных подробностей — например, потоки автомобилей сосуществуют с потоками же конных экипажей, бывшие имения превращены в советские монастыри для воспитания художественной элиты (нечто вроде нынешних «домов творчества»). Вообще для сохранения культурного уровня общества правительство употребляет довольно хитроумные средства. К сфере научной фантастики относится лишь управление погодой.

Некоторые предвидения явно носят полушутливый характер — такова опереточная «война с Германией», различные уклады, сосуществующие в утопии — якутский парламентаризм, угличская монархия. Любопытно, что Франции при этом предрекается вызывающая невольный озноб «олигархия ответственных советских работников», которая впрочем вскоре благополучно и закономерно перерождается в капитализм. Глухо упомянут и конфликт с церковью, пытающейся захватить в Ростовском районе светскую власть. Нельзя, помимо всего вышесказанного, отрицать и того, что в известном смысле «крестьянская утопия» — это осовремененный и просвещенный вариант славянофильского идеала России, в сущности отгороженной от «тлетворного» влияния Запада — жители ее пользуются плодами западной культуры (даже берут контрибуцию с Германии картинами из ее музеев, — что также не может не вызвать ассоциаций), но по сути это отношение потребительское. В чем-то ее можно сопоставить с романом П. Краснова «За чертополохом».



Повесть своеобразно дополняется двухстраничной «газетой» 1984 г. «Зодий», вложенной в книгу (и потому почти во всех экземплярах утраченной; нам известна лишь одна). Название, очевидно, ведет происхождение от популярной в свое время в России гадательной книги XVI в., запрещенной Стоглавым собором. Не исключено, что название, как и некоторые многозначительные датировки в повести, связаны с астрономическими выкладками, которыми (при разнообразии его увлечений) мог заниматься Чаянов. Видимо, по образцу этой газеты (и тоже не без злободневных намеков) были выпущены позднее однодневные газеты Русского Общества Друзей Книги — «Неправда» (16.XI.1923) и «Наша пятница» (16.XI.1928).

Заметное место в «Зодии» занимает некролог «великого социолога» Арсения Николаевича Брагина, под которым, по словам современников, Чаянов имел в виду самого себя. Здесь многозначительно указано, что несмотря на предстоявшую ему «исключительную политическую карьеру», «кабинет ученого оказался ближе его сердцу». Здесь Чаянов конспективно излагает свой взгляд на ту отрасль социологии, которая получила развитие лишь в последнее время под названием социометрии (возможно, здесь есть близость с идеями Питирима Сорокина). Известно, что Чаянов действительно собирался написать книгу «Теория создания, поддержания и разрушения репутаций» для «Издательства трех негров».

«Последние 12 лет своей жизни» Брагин, «выполнив все намеченное в одной из его юношеских записок, как программа жизни, перестал «быть деятельным» и жил, созерцая мир». Может быть, таков бы и был конец Чаянова, живи он в других условиях. «Автор» некролога А. Великанов (возможно, имеется в виду С. Клепиков) назван ниже представителем «брагинской школы» социометрии. Идея книги Великанова в том, что для познания эпохи необходимо изучить идеи и взгляды не знаменитых властителей дум, а рядового обывателя». Спор Минина с Кремневым в повести о личности и обществе дополняется здесь «материалами дискуссии» под характерным заголовком «Свобода власти или свобода от власти». Упомянут «Великий декрет 1928 года о неотъемлемых личных правах гражданина», — который «превратил государство в послушное орудие человеческой личности» — близкая дата подтверждает, что Чаянов питал определенные надежды на эволюцию советского строя. Указывается, что «государство блюдет не только свободу творящего начальства... но свободу каждого гражданина». Отметим, что здесь (как и полагается газете) острее, чем в повести, проглядывает памфлетная установка. Это видно во фразах типа: «Духовная монополия ничего кроме сожжения духовной жизни принести не может», «В духовной жизни только духовно слабый нуждается в духовной защите своих идей методами внешнего воздействия». Явно неслучайно сочетание названия книги «Мемуары великой революции» с названием издательства «Антропофаги». Есть здесь и другие интересные моменты. Например, конспективно изложена так

и не написанная Чаюновым подлинная история некоего автомобиля, парадоксальным образом прошедшего через всю смену политических декораций 1916—17 гг. и т. д.

Несмотря на большой тираж и остроту содержания, повесть вызвала подозрительно малое число откликов. Не исключено, что цензура, спохватившись, решила замолчать ее, настолько она шла вразрез с задачами дня. Мы нашли лишь равнодушно регистрирующий отзыв критика И. А. Оксенова (псевдоним — А. Инок) в библиографическом журнале «Книга и революция» (№ 12 за 1921 г.)<sup>11</sup>. Скупно откликнулась, впрочем, и эмиграция. Отметим отзыв известного А. Пешехонова в газете «Дни» (10.XII.1922, № 36), который, полемизируя с теорией Чаюнова о преимуществе мелких крестьянских хозяйств, назвал утопию «недалновидной». Он писал: «Крестьянская утопия г. Кремнева утопична потому, что если крестьянство так увеличит свое производство, — то его будет немного, а остальные перейдут к другим занятиям, и страна будет не крестьянской» — что, видимо, не лишено было оснований, т. к. именно это мы наблюдаем в развитых странах.

Отзыв на утопию мы нашли и у оригинального казанского поэта и философа Николая Александровича Васильева в послесловии к его труду «Вопрос о падении Римской империи и античной культуры в историографической литературе и в истории философии в связи с теорией истощения народов и человечества» (Казань, 1921, с. 239). Говоря о социальном вопросе в этом аспекте, он писал: «Разрешение этого вопроса тесно связано с проблемой города и деревни, настолько тесно, что талантливый автор «Путешествия моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» считает, что эта проблема может быть решена только разрушением городов. Противоположное решение было предложено Валерием Брюсовым (добавим — и большинством утопистов-технократов с Г. Уэллсом во главе), который в драме «Земля» изобразил все человечество живущим в одном гигантском городе».

В примечании к статье просоветски настроенного публициста и пропагандиста философии Н. Ф. Федорова — Н. А. Сетницкого «СССР, Китай и Япония» («Известия юридического факультета Высшей Школы», Харбин, т. X, 1933, с. 236) упомянут «апологет мелкобуржуазного и собственнического пути развития русского сельского хозяйства профессор Чаюнов, ныне находящийся в ссылке» (на самом деле — в тюрьме). Тут же говорится, что повесть Кремнева «привлекла внимание Ленина — при повороте от военно-коммунизма к НЭПу он оценил идею овладения климатом».

Полноты ради упомянем и злобный фельетон неизвестного Ем. Ярославского «Мечты Чаюновых» в «Правде» от 18.X.1930,

---

<sup>11</sup> Г. П. Струве любезно указал нам также рецензию в «Новой русской книге» (Берлин, 1922, № 11—12), подписанную Н. М. и рецензию на другие произведения Ботаника Х. там же (1923, № 1) за подписью Ю.

выразивший официозную точку зрения уже после процесса<sup>12</sup>. Не исключено, что утопия Чаянова оказала скрытое влияние на различные советские утопии, обильно возникшие в 30-х годах.

Насколько нам известно, вторая часть утопии, для издания которой не было уже, очевидно, и возможности, не была написана<sup>13</sup>. Но, без сомнения, Чаянов имел какой-то план продолжения повести. И нам кажется, что судя по наметившемуся конфликту героя с порядками, установившимися в утопии, продолжение должно было быть критически заострено против утопической диктатуры. Известная противоречивость, присущая повести, видимо объясняется тем, что по мере ее написания скрытые недостатки утопического строя делались все более ясными автору. Исходя из культурно-эстетических позиций самого Чаянова, показанных нами по мере возможности в двух первых главах, он, вероятно, более отчетливо выявил бы декларированный тезис: «не свобода власти, а свобода от власти». Ибо многое изображенное здесь явно шло вразрез с тем обликом Чаянова, который предстает перед нами из всей его деятельности. Во всяком случае, ввиду того интереса, который вызывает сейчас это произведение, мы вынуждены были дать эту нелицеприятную критику, по необходимости беглую.

Не следует забывать и о том, что Чаянов, подобно почти всему своему поколению революционной эпохи, изначально нес в себе ту роковую двойственность, о которой так хорошо написал забытый А. А. Салтыков в своей книге «Две России» (Мюнхен, 1924). Во всяком случае, картина, нарисованная в утопии Чаянова, была столь же своеобразна, как своеобразна была его собственная личность, и в силу этого не могла найти сколько-нибудь заметного числа сторонников. Что же касается других его повестей, то имеющий место взгляд некоторых авторов на них как на «подражательные» представляется нам в корне неверным, что мы и постарались показать. В своем литературном творчестве Чаянов, конечно, был отчасти дилетантом, но из тех дилетантов, которые пишут из настоятельной потребности выразить свою неповторимую личность и в силу этого создают новые ценности, в отличие от профессионалов, трудящихся по большей части ради хлеба насущного.

**Леонид Чертков**

---

<sup>12</sup> Подтвердили официозный взгляд на утопию Чаянова, как на «кулацкую», А. Д. Синявский и А. Г. Меньшутин в своей книге «Поэзия первых лет революции» (М. 1963). (Впрочем, этот «разбор» можно при желании воспринимать и как своеобразную «популяризацию» Чаянова в тогдашних условиях).

<sup>13</sup> Есть версия, что продолжение не было пропущено цензурой.

**ИСТОРИЯ  
ПАРИКМАХЕРСКОЙ КУКЛЫ  
И ДРУГИЕ СОЧИНЕНИЯ  
БОТАНИКА Х.**





**ОБМАНЩИКИ**

**ТРАГЕДИЯ**





Дорогому тезке  
и широкому критику  
стихотворительному от  
автора с любовью  
благодарить вас

А. Чапов

Берлин

14 III 23



ЭТУ ПЕРВУЮ БОЛЬШУЮ

ДРАМУ—ТЕБЕ, АЛЕНА!

# „ОБМАНЩИКИ“.

Трагедия в 3-х актах и 9-ти сценах, написанная ботаником X.



## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

Децимий . . . *знатный римлянин.*

Агриппина . . . . . *его жена.*

Люций . . . . . *слуга, писец.*

Юний . . . . . *знатный римлянин.*

*Рабы, служанки, трактирщик и пр.*

Действие происходит в Италии до Рождества  
Христового.



# АКТ ПЕРВЫЙ.

## Сцена 1.

*В доме Агриппины на морских купаниях.*

Агриппина. Прочти, Люций, последнюю фразу.

Люций. „Врачи находят, что купания укрепили меня значительно и через два, три месяца могли бы возвратить мне цветущее здоровье“...

Агриппина. Хорошо. Пиши дальше... „Но я, Децимий, немедленно должна покинуть“..., Нет погоди.... Пиши.... „Однако для меня стало невозможным оставаться здесь более. Поверь, Децимий, что уезжая, я имею на то серьезные основания... основания... я должна...“ нет лучше... „я не могу оставаться здесь и

не могу написать тебе почему это так... Причину можно сказать только устно, глядя в твои глаза“ (пауза). Прочти написанное, Люций.

Люций. „Причину можно сказать только устно, глядя в твои глаза“.

Агриппина. Ну, теперь конец... „Не сомневайся в твоей жене и верь, что это так нужно“. Перечти и принеси печать, а после скажи Люцине, чтобы принесла дорожный ящик.

Люций (уходит).



## Сцена 2.

*В доме Агриппины. Юний хочет силой поцеловать сопротивляющуюся Агриппину.*

Юний. Ведь прежде, ребенком, ты целовала меня. Один поцелуй, Агриппина.

Агриппина. Юний, оставь.

Юний. Агриппина, сегодня ты должна...

Агриппина. Я не могу, Юний... Не могу... Оставь! *(Вырывается).*

Не приближайся!

Юний. *(Стоит подавленный).* Агриппина, на лестнице жизни нельзя стоять на одном месте... Мы должны подняться на новую ступень близости, или сойти прочь.

Агриппина. Да, Юний, мы должны сойти прочь, вниз. Садись и слушай внимательно. Я люблю моего мужа большой, спокойной любовью, я вся растворена в нем... А наша страсть ненужный, быстротечный дурман...

Юний. Агриппина, ты лжешь себе. Ты любишь и ты хочешь быть моей...

Агриппина. *(Встает)*. Не могу дольше... Мы больше никогда не увидимся. Юний... *(Уходит)*.

## Сцена 3.

*Площадь в городе морских купаний.*

Раб Юния. Ваших цветов не приняли и сказали, что госпожа уехала сегодня утром.

Юний. Что за вздор! Приведи когонибудь из них.

*(Входит Люций).*

Люций. Госпожа уехала и просила передать Вам это письмо.

Юний *(читает)*. Неужели она в самом деле уехала. Люций, возьми этот золотой и скажи где твоя госпожа?

Люций. Уехала, Ваша милость.

Юний. Люций, возьми эти монеты и скажи где твоя госпожа.

Люций. Она уехала, Ваша милость.

Раб Юния. Он говорит правду, господин; у них все убрано и последние ослы уже частому назад покинули город.

Юний. Куда она уехала, Люций?

Люций. Я не могу сказать Вам этого, господин.

Юний. Люций, возьми этот кошелек и скажи куда уехала твоя госпожа.

Люций *(не берет)*. Я все равно не могу сказать Вам этого, господин.

Юний. Раб! Я задую тебя *(хватает его за грудь)*.

Люций. Я не могу ослушаться повелений госпожи.

*(Сбегаются на шум горожане)*.

Юний. Негодяй!.. Ну скажи по какой дороге ушли ослы с поклажей. Я дам тебе мешок золота, я выкуплю тебя на волю.

Люций. Я все равно не могу сказать Вам этого, господин, и я уже больше не раб.

Юний *(бросается на него)*. Собака!

*(Люций скрывается в толпе, которая угрожающе шумит)*.



## АКТ ВТОРОЙ.

## Сцена 4.

*Комната в доме Децимия. Агриппина и Децимий.*

Агриппина. ...Я чувствовала, как этот дурман пропитывает мое тело, течет по моим жилам и с каждым днем мои руки становились слабее и слабее.

Децимий. *(Молча ходит из угла в угол).*

Агриппина. Любовь к тебе, как солнечный яркий полдень была по прежнему ясна, но в душе пронесся знойный самум... и вот не имея более сил сопротивляться его воле, я уехала тайком... заметая свои следы и запрещая по дороге погонщикам и хозяевам тратторий говорить о нашем проезде.

Децимий (*молча ходит из угла в угол*).

Агриппина. Мне страшно твое молчание. Ты видишь я твоя... и я не могла поступить иначе. Еще день и я бы утонула в этом дурмане страсти... (*Молчит*).

Децимий (*молча ходит из угла в угол*).



## Сцена 5.

*Траттория Альбана на via Appia. Юний,  
его раб и трактирщик.*

Раб Юния. Погонщик Авл Лимотий указал, что они перегружались у Вас в траттории.

Трактирщик. Я не знаю никаких ослов.

Раб Юния. Черные ослы, груженные ящиками из красного и сандалового дерева, увязанными в белые кошмы с медными пряжками.

Юний (*показывает кошелек*). Послушай, хозяин! Не правда ли, как хорошо звенят эти монеты?

Трактирщик. Ваша милость...

Юний. Почем стоят у Вас ослы?

Трактирщик. За пару платят не менее золотого.

Юний. Я заплачу вдвое за каждого тому, кто скажет куда они ушли... А их, миленький, было не менее восьми.

Трактирщик. О, Боги, мой старший сын....

Юний. Приведи его сюда, да не забудь захватить старого кипрского.

## Сцена 6.

*Дорога в окрестностях Геркуланума.  
Юний и его раб.*

Раб Юния (*стоит на скале*). Процессия кончена. Она подошла к своим носилкам.

Юний. Скорее, скорее, вынь из корзины красные розы. Скорей, несчастный.

2-й раб (*вбегает*). Рабы с носилками уже прошли через плотину.

Юний. Станьте посреди дороги.

(*Негры проносят носилки, окруженные толпой рабов*).

Юний (*властным голосом*). Стойте! Мне нужно говорить с Вашей госпожей. (*Рабы останавливаются*).

Агриппина (*отодвигает занавесы*).  
Что случилось?.. Почему вы остановились?.. (*Увидав Юния*). Ах!..

Юний. Агриппина, я нашел тебя....  
Прими мои розы...

Агриппина. Рабы, идите своей дорогой.

Юний (*обнажая меч*). Рабы ни с места...  
Агриппина, ты снова лжешь себе.

Агриппина. Я не знаю тебя, путник.

Юний. Ты будешь сегодня моей!

Агриппина. Я не знаю тебя, путник.

Юний. Сегодня ночью ты придешь ко мне, Агриппина.

Агриппина. Рабы! уберите этого безумца и продолжайте свой путь. (*Рабы отстраняют Юния и его слуг и уходят*).

Юний (*падая на землю*). Вечером я буду ждать тебя, Агриппина.



## АКТ ТРЕТИЙ.

## Сцена 7.

*Комната в доме Децимия. Децимий читает рукопись. Входит взволнованная Агриппина.*

Агриппина. Децимий... спаси меня... он здесь... он нашел.. я погибла, Децимий.

Децимий. Успокойся, Агриппина, что с тобой?

Агриппина *(падая на колени)*. Свяжи меня, запри в подвал. Закуй мои ноги в цепи... Я не могу, Децимий, мне некуда уйти. Ты понимаешь, теперь мне некуда уйти.

Децимий. Слова твои бессвязны, Агриппина.

Агриппина *(встает)*. Децимий, ты понимаешь почему я вернулась так рано

с морских купаний... ты помнишь тот дурман, который омрачил мою любовь к тебе .. Ну так вот... Он во мне этот дурман; я безвольна, я пьяна, Децимий! *(падает на колени)*. Запрети меня. Вели Мелетню привязать к моим дверям собак, поставить сторожей. Он велел мне придти к нему сегодня ночью... И я приду, Децимий. Я приду... свяжи мои ноги.

Децимий. Я верю в тебя больше, чем ты сама, Агриппина. Успокойся. *(Гладит ее волосы)*. Или ты уже больше не любишь меня?

Агриппина. Я люблю тебя, Децимий... Но воля его пропитала мою душу и я бессильна... Децимий... Умоляю, свяжи меня на эту ночь.

Децимий. Я уважаю и верю в свою жену, Агриппина. И я не буду связывать ее. Больше: я уеду сегодняшней ночью и оставлю ее одну... А утром поздравлю тебя с величайшей победой твоей души.

Агриппина. Децимий, Децимий.



## Сцена 8.

*Сад при доме Децимия. Юний и его раб перелезают через стену.*

Юний. Оставь мне мечь и круглый щит... так... стань теперь у ворот и смотри... тише.

*(Входит изнеможенная Агриппина).*

Юний. Агриппина. *(Протягивает к ней руки).*

Агриппина. Юний, пощади... Оставь меня, уйди.

Юний *(обнимает ее обессиленную)*. Моя Агриппина.

Агриппина. Юний, пощади...

Юний. Ты снова хочешь лгать себе...  
Моя Агриппина!

Агриппина. Мой Юний!  
Голос раба Юния. Господин! А...  
а... а!... *(лязг оружия)*.

*(Входит Децимий, окруженный толпой рабов с оружием и факелами)*.

Децимий. Ни с места... факелов сюда. *(Узнает Юния)*. Юний!

Юний. *(Отступая)*. Децимий!

Децимий. Ты ли это соратник!

Юний. Шесть лет после битвы при Каннах мало изменили тебя.

Децимий. Ты стал еще моложе Юний.

Юний. Твой пунический шрам все тот же, но я вижу новый.

Децимий. Галльская царапина... в той битве, когда я считал тебя погибшим. Когда Кай Публий...

Агриппина *(со стоном припадает к дереву. Юний и Децимий в порыве радости забывшие о ней, обращиваются)*.

Агриппина. Обманщики! Обманщики!... *(убегает)*.

Децимий. Что с нею, Юний?

## Сцена 9.

*Комната Агриппины. Входят Децимий и Юний.*

Децимий. И здесь ее тоже нет... Все это так нелепо, так нелепо.

Юний. Что с ней могло случиться?

Децимий. Не знаю.

Юний. Пстой, здесь записка.... Ты можешь прочесть.

Децимий. Ужасно написано... Дай света.

Юний. Прочел? Да... Что же там написано?

Децимий (*задумчиво*). Всего два слова: „Обманщики! Обманщики“!

Ю н и й. Ты что nibудь понимаешь,  
Децимий?

Децимий. Нет. Пстой, пстой! Да!  
Я кажется начинаю понимать!

## ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Автора могут спросить—что собственно *римского* содержит его трагедия? Ничего.

Почему же его герои носят римские имена и одеты в римские костюмы? А почему же они должны быть одеты в какие либо другие?

Мою абстрактную проблему нельзя было перенести в современность, ибо это действительно требовало соблюдение исторической верности. А для читателя наших дней, для которого Рим рисуется весьма немногими, и то расплывчатыми чертами, легче соблюсти историческую верность в Риме, чем в доподлинно известной ему, читателю, современности.

Почему же автор не поместил героев

в будущее или страну утопий? Просто потому, что он не хотел отказаться от тех творческих римских дополнений, которые читатель вложит в его трагедию.

Однако, если Вас будут коробить исторические нелепости, то представьте мою трагедию в некой стране будущего, где по странной игре случая есть и Геркуланум и *via Appia*.

Я же сам стою за Рим и смело бросаю свои образы в мир римских представлений русского читателя XX века, полагая, что они там,—говоря словами Великого Француза,—сами, как кошки встанут на ноги.

ИЗДАНИЕ АВТОРА.

Р. В. Ц. г. Сергеев 1921 г. Тираж 1.000.

---

Типография при Отд. Нар. Образования Серг. Совета.

ИСТОРИЯ ПARIKMAХЕРСКОЙ КУКЛЫ

или

Послѣдняя любовь Московскаго архитектора М.

---





Дорогой моему и  
рецензенту от признательности  
автора  
13 III 23 А. Чадинов  
Berlin



„Однажды, проходя мимо кофейной Тверского бульвара, почувствовать, что онъ уже старъ“.

# ИСТОРИЯ ПАРИКМАХЕРСКОЙ КУКЛЫ

или

## Последняя любовь Московскаго архитектора М.

*Романтическая повѣсть, написанная ботаникомъ Х. и иллюстрированная антропологомъ А.*

.....

МОСКВА.

1-й годъ республики.

---

Ташкентда ян „Кешпезаньсье Издателсьсье“, В. Дмитровка .6.

*Памяти великаго мастера Эрнста  
Теодора Амедея Гофмана посвяща-  
етъ свой скромный трудъ авторъ.*



## І. Прологъ.

Нелугъ, котораго причину  
Давно бы отыскать пора.

*А. Пушкинъ.*

Московскій Архитекторъ М., строитель одного изъ наиболѣе посѣщаемыхъ московскихъ кафе, извѣстный въ московскихъ кругахъ болѣе всего событіями своей личной жизни въ стилѣ мемуаровъ Казановы, — однажды, проходя мимо кофейной Тверского бульвара, почувствовалъ, что онъ уже старъ.

Кофейная, нѣкогда претворенная въ одной изъ картинъ Юона, вечерняя фланирующая толпа и желтыя ленты московскихъ осеннихъ бульваровъ, обычно столь радостные и



бодрые, погасли въ его душѣ. Осенняя суতোлка города, автомобили Страстной площади, трамвайные звонки, вереницы проститутокъ и мальчишки, продающіе цвѣты, оставляли его безучастнымъ.

Всѣ замыслы, только что волновавшие его сердце, показались ему банальными, утомительно повторенными сотни разъ, и даже вечерняя встрѣча, которой онъ добивался столько мѣсяцевъ, и которая должна была составить новое крупное событіе въ анналахъ его жизни, вдругъ показалась ненужной и нудной... Одни только осенніе листья, падающіе съ деревъ и ложившіеся подъ ноги вечернихъ прохожихъ, глубоко проникали въ его душу какой то горестной печалью.

Онъ постоялъ минуту въ нерѣшительности, машинально купилъ

вечернюю газету, затѣмъ быстрыми шагами повернулъ на Тверскую и дойдя до цвѣточного магазина Степанова и Крутова, послалъ огромный букетъ бгаряныхъ розъ той, чье сегодняшнее паденіе должно было вплести новые лавры въ вѣнокъ московскаго Казановы.

Ему не хотѣлось возвращаться домой, не хотѣлось снова видѣть кресла краснаго дерева, Елизаветинскій диванъ, съ которымъ связано столько именъ и подвиговъ любви, ставшихъ теперь ненужными; гобеленовъ, эротическихъ рисунковъ уже безумнаго Врубеля, съ такимъ восторгомъ купленныхъ когда то, фарфора и новгородскихъ иконъ, словомъ всего, что радовало и согрѣвало жизнь.

Владиміру, его звали такъ, захотѣлось раствориться въ кипящемъ

котлѣ жизни великаго города. Онѣ спустился на Петровку и привычными шагами, не отдавая себѣ отчета, зашелъ въ маленькое артистическое кафе, кивнулъ знакомой барышнѣ и спросилъ себѣ чернаго кофе съ ватрушкой.

Кругомъ за столиками и въ проходахъ толкались десятки знакомыхъ лицъ въ смокингахъ, шелковыхъ платьяхъ, бархатныхъ курткахъ и демократическихъ пиджакахъ. Ему улыбались, но онѣ можетъ быть въ первый разъ оставался безучастнымъ и, машинально слушая звуки скрипокъ, смѣшанные со звономъ посуды, былъ захваченъ потокомъ своихъ мыслей.

Двигающіеся передъ нимъ люди казались ему картонными и давили его мозгъ безысходной тоской, и когда на эстрадѣ появился изящ-

ный конференсье, съ трудомъ установившій тишину и объявившій начало конкурсу поэтессъ, Владиміръ не могъ долѣе сдержаться и вышелъ изъ яркаго кафе въ темноту московскихъ улицъ.

Городъ съ его ночьюю жизнью, ночные прохожіе, полуосвѣщенные окна, огни притоновъ и четкій въ ночной тишинѣ стукъ коньтъ запоздалаго извозчика, душили Владиміра своей извѣстностью, своей до конца испытаною знакомостью. Онъ окидывалъ тоскующимъ взоромъ знакомые контуры ночныхъ улицъ столицы и, рѣшившись испытать послѣднее средство противъ душившей его меланхоліи, спустился къ Трубной площади и въ одномъ изъ переулковъ нашель знакомый ему китайскій притонъ опиумановъ.

Однако черезъ нѣсколько минутъ

онъ уже бѣжалъ оттуда, еще болѣе гонимый тоской.

„Извозчикъ, на Казанскій!“ крикнулъ Владиміръ, вскакивая въ пролетку.

Послѣ второго звонка онъ подбѣжалъ къ билетной кассѣ и 12.10-ночной поѣздъ унесъ его въ Коломну. Владиміръ искалъ въ провинціальной глуши собраться съ мыслями.



## II. Коломна.

„А съ того времени въ ономъ никакихъ достойныхъ примѣчаній происшествій не случилось“.

*Коломенская Историческая хроника.*

Коломна славится своею пастилой.  
*Современный путеводитель.*

Коломна, нѣкогда славная твердыня, охранявшая Окскій берегъ отъ степныхъ татарскихъ набѣговъ, а послѣ, — крупнѣйшій центръ хлѣбной торговли, — въ наши дни жила сонной жизнью тихаго провинціального города. Вѣковое молчаніе ея Кремля нарушалось стономъ гудковъ окрестныхъ фабрикъ. Гармоника загулявшаго мастерового изрѣдка огла-

шала ея полусонныя улицы. Но все же это былъ славный городокъ.

Ночной поѣздъ съ грохотомъ уносился на степной берегъ, оставивъ на темномъ перонѣ Владиміра и какихъ то двухъ озабоченныхъ коммивояжеровъ.

Неуклюжій извозчикъ долго стучалъ и звонилъ у подѣзда „Большой гостиницы“ Ивана Шварева, пока заспанный швейцаръ ни отворилъ дверей и провель поѣздителя въ „роскошный“ номеръ съ зеленымъ бархатнымъ диваномъ и кроватью за деревянной перегородкой. Коридорный сообщилъ, что кромѣ ветчины и пива достать ночью ничего невозможно.

Черезъ нѣсколько минутъ, поставивъ на столъ обѣщанный ужинъ, онъ удалился. Стало тихо. Безконечно тихо. На столѣ мерцали двѣ

свѣчи, отсвѣчивая на стеклѣ стака-  
на, желтой калинkinской бутылкѣ  
и озаряя бѣлый судочекъ съ хрѣ-  
номъ и горчицей, традиціонно по-  
данный къ ветчинѣ.

Владиміръ молча ходилъ по ков-  
ру и свѣжесть провинціальной ночи  
понемногу просвѣтляла его сознаніе.

Наединѣ съ собою онъ чувство-  
валъ до ужаса отчетливо, что онъ  
уже старъ, что все, что заполняло  
его жизнь въ теченіе многихъ лѣтъ,  
изжито имъ до конца, знакомо до  
пресыщенности

Ему хотѣлось простыхъ словъ,  
провинціальной наивности, кисей-  
ныхъ занавѣсокъ и герани.

Въ шкафу, куда повѣсилъ свое  
пальто, нашель онъ книгу, разорван-  
ную и забытую кѣмъ либо изъ его  
предшественниковъ. Это былъ „Ле-  
дяной домъ“ Лажечникова, повѣ-



ствованіе, вполнѣ подходящее къ жадѣ провинціальныхъ впечатлѣній.

Владиміръ отрѣзалъ большой кусокъ ветчины, налилъ себѣ пива и началъ пожирать страницу за страницей, запивая калинkinской влагой похождения сподвижниковъ Петра.

Уже свѣтало и давно пѣли пѣтухи, когда онъ потушилъ свѣчи и легъ спать.



### III. Романтическія встрѣчи.

У Гальони иль Кальони  
Закажи себѣ въ Твери  
Съ пармезаномъ макарони  
Иль яичницу сvari.

*А. Пушкинъ.*

Было одиннадцать часовъ, когда Владиміръ проснулся и съ изумленіемъ оглянулся кругомъ.

По мостовой громыхала извозчиця пролетка на желѣзномъ ходу, гдѣ то на задахъ баритональный басъ матерно и со смакомъ ругаль какого то Ваньку, и осеннее солнце просачивалось сквозь опущенныя тяжелыя сторы.

Съ трудомъ понявъ случившееся, и почувствовавъ себя еще болѣе

подавленнымъ какой то внутренней пустотой, Владиміръ нехотя поднялся, позвонилъ коридорнаго, приказалъ ему сбѣгать за мыломъ, зубной щеткой и гдѣ нибудь раздобыть полотенце, а заодно принести самоваръ и калачъ съ икрой, и началъ одѣваться.

Постепенно новизна положенія начала его заинтересовывать, и черезъ часъ, сидя за чаемъ, откусывая горячій калачъ и читая поданную ему афишу, изъ которой явствовало, что сегодня вечеромъ въ городскомъ саду г. г. любителями будетъ исполнено въ пользу вольно-пожарнаго общества на фондъ приобрѣтенія моторной кишки комедія господина А. Чехова „Медвѣдь“ и будутъ пѣть госпожа Н. и \* \* \*, онъ уже чувствовалъ себя замѣтно освѣженнымъ отъ московской тоски.

Городская площадь показалась ему немного болѣе грязной, чѣмъ этого бы хотѣлось, зато пожарную каланчу онъ нашель построенною въ строго выдержанномъ николаевскомъ стилѣ, а двухъ гимназистокъ въ бѣлыхъ чулкахъ и козьихъ полусапожкахъ весьма свѣжими и занятными.

Посидѣвъ полчаса у лимонаднаго павильона городского сада, весьма запыленного, но открывающаго прекрасную рѣчную панораму, Владиміръ узналъ отъ полногрудой дамы, разливавшей лимонадъ, всѣ городскія новости и, получивъ практическіе совѣты, отправился осматривать городъ.

Прошелъ сквозь Пятницкія ворота, съ которыхъ князь Григорій Волхонскій громилъ когда-то гетмана Сагайдачнаго, посвѣтилъ храмъ

2\*

Воскресенія, началъ уже зѣвать, но замѣтно оживился, замѣтя стройныхъ монашекъ Брусенецкаго монастыря. Вскорѣ однако его безцѣльному фланерству былъ положенъ конецъ молодой незнакомкой въ желтыхъ ботинкахъ, оранжевомъ платьѣ, плотно облегающемъ стройный станъ, и зеленой шляпѣ съ перомъ.

Нагруженная покупками и защищающаяся отъ палящихъ солнечныхъ лучей краснымъ парасолемъ, она обронила продолговатый свертокъ и силилась поднять его, не разронявъ другіе.

Владиміръ поспѣшилъ на помощь и, получивъ благодарность и рѣшительный отказъ на предложеніе дальнѣйшаго содѣйствія, сталъ слѣдовать въ почтительномъ отдаленіи вплоть до маленькаго деревяннаго домика съ террасой, увитой плю-

щемъ, окнами, завѣшанными кисейной занавѣской и очаровательной геранью въ банкахъ на деревянныхъ оконныхъ скамейкахъ.

Отъ лавочника напротивъ онъ узналъ, что ее зовутъ Евгенія Николаевна Клирикова, что она жена ветеринарнаго врача, играетъ на гитарѣ и поетъ малороссійскія пѣсни.

Часы показывали три. Пора было возвращаться въ гостинницу къ заказанной стерляжьей солянкѣ и гусю съ капустой.

Размышленія о начатомъ сантиментальномъ романѣ съ ветеринаршей занимали мысли Владиміра, когда онъ возвращался по уже знакомымъ улицамъ городка.

Вдругъ онъ остановился, какъ вкопанный. Знакомое чувство приближенія волнующей страсти содрогнуло все его существо. Передъ нимъ была

„Большая московская парикмахерская мастера Тютютина“, сквозь тусклое стекло большого окна которой, на него глядела рыжеволосая восковая кукла.



#### IV. Восковая кукла.

„Родившійся подъ знакомъ Рыбъ  
долженъ опасаться рыжеволосой  
женщины“.

*Гороскопъ.*

Это была удивительная восковая кукла.

Густыя змѣи рыжихъ, почти бронзовыхъ волосъ окаймляли блѣдное съ зеленоватымъ опаловымъ отливомъ лицо, горящее румянцемъ и алыми губами и въ своей композиціи укрѣпленное огромными черными глазами.

Несмотря на нѣсколько грубое мастерство, во всемъ просвѣчивало портретное сходство. Было совершенно очевидно, что у этого во



скового изваянія былъ живой оригиналь, дивный, чудесный.

Всѣ мечты Владиміра о конечномъ женственномъ, о томъ, къ чему всѣ пройденныя женщины были только отдаленнымъ приближеніемъ, казалось были вложены въ это лицо. Коломна, госпожа Клирикова, монахини Брусенецкаго монастыря и гостинничная солянка изъ стерляди, все было забыто въ одно мгновеніе.

Акимъ Ипатовичъ Тютинъ пожилой уже мастеръ, когда то работавшій у Рулье на Арбатѣ и тамъ изучившій сложную науку куафера, весьма охотно согласился продать за 500 рублей свою рекламную куклу, доставшуюся ему за безцѣнокъ и сообщилъ все, что могъ о происхожденіи воскового изваянія.

Мѣсяца полтора назадъ въ Ко-

ломну приѣзжалъ большой паноптикумъ „Всемирная Панорама“, гдѣ вмѣстѣ съ умирающимъ на полѣ брани офицеромъ, невѣстой льва, Клеопатрой, знаменитымъ убійцей Джекомъ-Потрошителемъ. показывались какія то знаменитыя сестры-близнецы, фамилію которыхъ Тютинъ запомнилъ.

Поразившая Владиміра кукла и была одною изъ этихъ сестеръ. попавшей на витрину „Большой Московской парикмахерской“ нижеслѣдующимъ образомъ.

Жозефъ Шантрень, поджарый бельгіецъ, содержатель паноптикума, жилъ и столовался у Тютина. Дѣла паноптикума, вначалѣ оживленныя, шли неважно. Шантрень, снявши обильный урожай, не сумѣлъ уѣхать во время. Задержался какой то романтической исторіей и увязъ въ

долгахъ. Интересъ къ паноптикуму упалъ до нуля, случайные посѣтители приносили гроши, и въ концѣ концовъ несчастному бельгійцу пришлось ликвидировать свои дѣла продажей нѣсколькихъ фигуръ.

„Клеопатру“ купилъ за хорошія деньги для украшенія гостиной, недавно разбогатѣвшій пароходовладѣлецъ К., а Тютинъ, пополамъ съ зятемъ, державшимъ парикмахерскую въ Серпуховѣ, пріобрѣли, въ зачетъ долговъ Шантреновыхъ, сестеръ-близнецовъ и, разъединивъ ихъ лобзикомъ, украсили окна своихъ заведеній.

По свѣдѣніямъ Акима Ипатовича, Шантрень со всѣмъ своимъ скарбомъ отправился изъ Коломны въ Москву.

Вечеромъ того же дни, отдавъ должное гусю съ брусникой. Вла-

димірь бережно укладываль въ ящикъ восковой портретъ, поразившей его женщины, упихивая его со всѣхъ сторонъ ворохомъ газетъ и страницами, вырванными изъ недочитаннаго „Ледяного Дома“, сочиненнаго господиномъ Лажечниковымъ.

Передъ отходомъ поѣзда на перонѣ, среди дачной и гуляющей толпы, мелькнуло оранжевое платье и красный зонтикъ госпожи Клириковой. Владимірь вспомнилъ о своемъ милымъ сентиментальномъ коломенскомъ романѣ и при отходѣ поѣзда послалъ воздушный поцѣлуй, чѣмъ непріятно поразилъ кооперативнаго инструктора-счетовода Сахарова, съ большимъ правомъ считавшаго госпожу Клирикову близкой къ себѣ особой, чѣмъ могъ это сдѣлать московскій архитекторъ.

## V. Поиски начинаются.

„Аменофисъ въ тотъ же  
часъ влѣветъ къ Киру“.

*Госпожа де-Фонтенъ.*

Владиміру М., воспрянувшему духомъ и вернувшемуся къ жизни, потребовалось не мало времени и усилій, чтобы найти Шантрена.

Его швейцаръ Григорій успѣлъ два раза съѣздить въ Серпуховъ и купить у предприимчиваго Тютинова зятя Королькова вторую рыжую куклу за 1500 рублей.

Серпуховской парикмахеръ, предупрежденный Тютинымъ, считалъ, что тестъ продешевилъ и взялъ „настоящую“ цѣну, не подозрѣвая конечно, что М. заплатилъ бы и

пять и шесть тысячъ за необходимаго ему воскового манекена.

Серпуховская голова, испорченная немного Корольковымъ, который продѣлъ ей въ уши серьги, была еще красивѣе. Но въ ней было меньше того женственнаго начала, которое такъ поразило Владиміра въ Коломнѣ.

Поиски Шантрена, на которые были снаряжены нѣсколько красныхъ шапокъ, подвигались медленно.

Въ адресномъ столѣ онъ числился выбывшимъ въ Коломну, въ полиціи на него лежалъ исполнительный листъ московскаго купца Шаблыкина, а въ профессиональномъ союзѣ артистовъ Варьетэ и Цирка Владиміру показали два корешка квитанціонной книжки, свидѣтельствовавшіе, что Шантрень два года платилъ членскій взносъ исправно,

сказали такъ же, что какъ будто года три назадъ онъ выступалъ какъ шпагоглотатель у Никитина и больше ничего сообщить не могли.

Непреоборимое чувство тѣмъ временемъ разросталось въ его душѣ. Онъ затворился въ своемъ кабинетѣ, гдѣ рядомъ съ пузатымъ шкафчикомъ Александровской эпохи, на фонѣ старой французской шпалеры, стояли двѣ восковыхъ головы.

Рука М., водимая страстью, рисовала черты, поразившаго его лица въ десяткахъ все новыхъ и новыхъ поворотовъ. Поиски продолжались.

Владиміръ уже началъ терять надежду, какъ вдругъ ему пришла въ голову геніальная мысль помѣстить публикацію въ газетахъ.

Черезъ три дня онъ уплатилъ по ста рублей пяти посѣтителямъ,

указавшимъ ему мѣстопробываніе Шантрена, а на пятый день самолетскій пароходъ „Глинка“ доставилъ его въ Корчеву, гдѣ на высокомъ берегу Волги бѣлѣли палатки Шантренова паноптикума.





## VI. Паноптикумъ „Всемирная панорама“.

„Не мадамъ, а я те дамъ“.

*Провинціальный разговоръ.*

Пожилая дама, продававшая билеты, объяснила, что господина содѣржателя въ паноптикумѣ не находится и продала за рубль оранжевый билетъ съ правомъ входа въ „физиологическій залъ“, куда „дамы допускались отдѣльно отъ 2-хъ до 3-хъ часовъ ежедневно“.

Ища убить минуты ожиданія Владиміръ углубился въ разсмотрѣніе выставленныхъ фигуръ. Ему, казалось испытывавшему все на свѣтѣ, ни разу не случалось бывать въ пано-

птикумъ, и онъ съ любопытствомъ новизны разсматривалъ наивные фантомы.

Его поразила „Юлія Пастрана, родившаяся въ 1842 году и жившая вся покрытая волосами подобно звѣрю до смерти“ „Венера въ сидячемъ положеніи“ и длинный рядъ восковыхъ портретовъ блѣдныхъ знаменитостей, начиная Джекомъ Потрошителемъ, кончая Бисмаркомъ и президентомъ Феликсомъ Форомъ. Онъ опустил гривенникъ въ какое-то отверстіе и тѣмъ заставилъ мрачнаго самоубійцу увидѣть въ зеркалѣ освѣщенное изображеніе, измѣнившей ему невѣсты.

Шустрый малецъ сообщилъ ему, что „Осада Вердена“ испортилась, но зато дѣйствуютъ „Туалетъ парижанки“ и „Охота на крокодиловъ“. Пожертвовавъ еще гривенникъ и по-

вертѣвъ ручку стереокинематографа, Владиміръ къ своему стыду замѣтилъ въ себѣ нѣкоторый интересъ ко всей этой выставленной чепухѣ, подавляя который онъ отправился къ кассиршѣ узнавать, когда же вернется господинъ Жезефъ Шантрень.

Пожилая дама, услыхавъ отъ незнакомца имя своего патрона, пришла въ еще большее замѣшательство и сообщила неувѣреннымъ голосомъ, что господинъ Шантрень уѣхалъ неизвѣстно куда и не скажетъ когда вернется.

По тону голоса было ясно, что она вретъ, и что бельгіецъ, напуганный газетными публикаціями о немъ и имѣвшій, навѣрное, не мало поводовъ опасаться госпожи Немезиды, просто скрывается. Однако, добиться чего-либо отъ безтолковой тетки было очевидно невозможнымъ.

Пришлось дѣйствовать окольными путями, разспросить обывателей гдѣ живетъ содержатель куколь, ввалиться въ тотъ домъ, гдѣ онъ квартировалъ и снова столкнуться лицомъ къ лицу съ мадамъ Сухозадовой, которая продавала въ паноптикумѣ билеты.

Пелагея Ивановна была вдова корчевскаго мѣщанина Сухозадова, обитала въ небольшомъ домикѣ на Калязинской улицѣ, оставшемся ей отъ мужа, промышляла варкой варенья, въ виду чего состояла многолѣтней подписчицей „Русскихъ Вѣдомостей“, почитая бумагу этой газеты наиболѣе передъ всѣми прочими бумагами подходящей для завязыванія банокъ съ произведеніями ея труда.

Владиміръ М., сидя въ просторной горницѣ съ божницей иконъ

3\*

палехскаго письма, украшенныхъ вѣнчиками изъ бумажныхъ цвѣтовъ, съ половиками на чисто вымытомъ крашенномъ полу, съ кроватью, покрытой лоскутнымъ одѣяломъ въ клѣтку, — вдыхаль запахъ размарина и комнатныхъ жасминовъ, стоящихъ на окнахъ и старательно убѣждалъ Пелагею Ивановну, что онъ вовсе не Шаблыкинъ и никакой иной купецъ или непріятель мусье Жозефа, а просто художникъ, желающій приобрести великолѣпную статую „Маріи Стюартъ, несчастной королевы Шотландской, входящей на эшафотъ“, которая украшала собою паноптикумъ.

Послѣ двухчасового убѣжденія и документа за подписью управляющаго государственнымъ банкомъ Пелагея Ивановна со вздохомъ взялась, наконецъ, „попробовать“ пе-

редать господину Жозефу письмо отъ господина художника.

Вечеромъ Шантрень заходилъ въ номеръ паршивой гостинницы, гдѣ остановился М., гдѣ пахло щами и пивомъ и гдѣ щелкали билліардные шары, сопровождаемые тяжелыми шутками партнеровъ.

Бельгіецъ не могъ рассказать ничего путнаго, сообщилъ только адресъ той Гейдельбергской фабрики, гдѣ онъ купилъ партію послѣднихъ фигуръ и продалъ за пятьдесятъ цѣлковыхъ счетъ съ бланкомъ фирмы „Папенгутъ и сынъ въ Гейдельбергъ“. изъ котораго явствовало, что за фигуру близнецовъ нѣкогда было заплачено 300 марокъ.

Вечеромъ же въ рубкѣ „Муссоргскаго“ Владиміръ угощаль себя и случайно встрѣтившагося ему на

пароходъ литератора Ш. шампанскимъ и былъ радостенъ, какъ никогда въ жизни. Нить была найдена.



## VII. Отъездъ.

Для сладкой памяти невоз-  
вратимыхъ дней  
Не нахожу ни слезъ, ни  
пѣни.

*А. Пушкинъ.*

12-го октября на перронѣ Александровскаго вокзала небольшая группа друзей, посвященныхъ въ перепитіи новаго романа Московскаго Казановы, провожала Владимира съ нордъ-экспрессомъ.

Швейцаръ Григорій вмѣстѣ съ несессерами, саками и двумя чемоданами глобтроттеръ, привезъ аккуратно упакованный ящикъ съ восковыми красавицами. За нѣсколько минутъ до отхода поѣзда, запыхав-



шійся мальчикъ отъ Ноева передалъ букетъ завернутый въ бумагу и записку съ настоятельной просьбой распечатать его послѣ отхода поѣзда.

Друзья въ стихахъ и прозѣ желали Владиміру влить горячую кровь въ восковыя жилы и, надъ Москвою уже раскрывалась ночь, когда поѣздъ медленно отошелъ, оставляя за собой Ходынку, Прѣсню, Дорогомилово, Фили...

Пройдя по мягкому корридору международнаго вагона въ свое купэ, Владиміръ распечаталъ загадочный пакетъ. На подушки дивана рассыпались сухія розы того букета, который онъ послалъ единственной отдавшейся ему, но имъ не взятой женщины въ памятный вечеръ, когда невѣдомое чувство толкнуло его въ Коломну.

Онъ улыбнулся, выбралъ одинъ изъ цвѣтовъ, остальные выбросилъ въ окно. Сѣлъ и сталъ смотрѣть на убѣгающія дали. Въ Можайскѣ прошелся два раза по перрону, велѣлъ подать себѣ въ купѣ стаканъ кофе и легъ спать.



## **VIII. Тайна понемногу разъясняется.**

„Тайна подобна замку, ключъ  
отъ котораго потерянь“

*Эдгаръ По.*

Директоръ-распорядитель фирмы „Папенгутъ и сынъ въ Гейдельбергъ“ оказался откормленнымъ нѣмцемъ лѣтъ на сорокъ пять и держался весьма важно и снисходительно.

Владиміру пришлось выслушать рядъ сентенцій о значеніи восковой скульптуры, о „Флоръ“ Леонардо да Винчи, хранящейся въ Берлинѣ въ Кейзерфридрихмузеумѣ и стоящей на торговой маркѣ фирмы Папен-

гутъ, о педагогическомъ значеніи паноптикума, столь мало оцѣниваемомъ государственными дѣятелями Европы и только въ концѣ-концовъ ему было сказано, что судя по предъявленному счету, Жозефу Шантрону была продана бракованная партія, такъ какъ въ счетѣ не проставлены №№ моделей и что для опредѣленія содержанія изображенія необходимо представить саму „скульптуру“. На этомъ аудіенція окончилась, и на другое утро къ воротамъ фабрики „Папенгутъ и сынъ въ Гейдельбергѣ“ стремительный таксомоторъ, шурша по гравію шоссе, привезъ Владиміра съ его драгоценнымъ ящикомъ.

Освобожденные отъ бумаги рыжеволосыя медузы-горгоны блестяли на солнцѣ своими бронзовыми косами, и глубокій взоръ снова упалъ

въ самую глубину души Московскаго архитектора.

Воцарилось молчаніе. Казалось, самъ директоръ былъ пораженъ издѣліями своей фабрики. Онъ надавилъ кнопку звонка и велѣлъ вошедшему груму позвать мистера Пингса, завѣдующаго монтажной мастерской.

„Вѣдь это—тѣ самыя, мистеръ Пингсъ?“,—обратился директоръ къ вошедшему сухопарому американцу.

„Да, несомнѣнно, тѣ самыя, шефъ“, отвѣтилъ Пингсъ и открылъ книгу заказовъ, которую директоръ передалъ Владиміру.

„Сестры Генрихсонъ, близнецы изъ Роттердама, 18 лѣтъ, показаны во многихъ циркахъ Стараго и Новаго свѣта. Въ Парижѣ въ Циркъ де Пари, въ Лондонѣ въ Пикадели-

Музыкъ-Холль, сняты скульптурнымъ мастеромъ Ванъ-Хооте въ Гейдельбергъ“.

Директоръ далъ Владиміру списать въ блокъ-нотъ написанное и, закрывъ книгу, добавилъ:

„Благодаря этой скульптурѣ мы лишились лучшаго изъ нашихъ мастеровъ. Когда намъ сталъ извѣстенъ этотъ феномень, и его содержатель, будучи въ Гейдельбергѣ, предложилъ нашей фирмѣ исключительное право репродукцій за 2000 марокъ, то мы, цѣня экстраординарность феномена, согласились заплатить означенную сумму и послали для съемки лучшаго своего мастера — Ванъ-Хооте.

Однако, несчастный голландецъ, не имѣвшій достаточной уравновѣшенности, вспылалъ неестественной страстью къ одной изъ сестеръ

Генрихсонъ и, окончивъ скульптуру, повѣсилъ“.

Когда Владиміръ спускался по лѣстницѣ изъ конторы фирмы „Панпегутъ и сынъ въ Гейдельбергъ“, у него кружилась голова.



## IX. Въ поискахъ рыжеволосой Афродиты.

„Сердце мое билось“...

*Карамзинъ.*

Ни скудныя указанія конторы „Папенгутъ и сынъ въ Гейдельбергъ“, ни другіе источники не могли дать Владиміру свѣдѣній, сколько нибудь точныхъ о дальнѣйшей судьбѣ „сестеръ Генрихсонъ“.

Было извѣстно, что послѣ трагической смерти Ванъ-Хооте, онѣ поспѣшно покинули Гейдельбергъ, имѣли два выхода въ циркъ Шульце въ Майнцѣ и это все... далѣе нить терялась, и всего вѣроятнѣе было предположить, что сестры покинули



Германію или перемѣнили свое театральное имя.

Публикаціи въ самыхъ распространенныхъ газетахъ міра не дали никакихъ результатовъ, несмотря на значительность обѣщанныхъ наградъ за какое-либо указаніе на мѣстонахожденіе сестеръ-близнецовъ.

Три интернаціональные бюро вырѣзокъ потрошили тысячи газетъ и театральныхъ изданій на двадцати семи важнѣйшихъ языкахъ міра, опустошая хронику зрѣлищъ, но не могли принести ни единой строчки, посвященной „сестрамъ Генрихсонъ“.

Правда, имя „Генрихсонъ“ было обычно въ цирковыхъ афишахъ, но въ большинствѣ случаевъ подъ этимъ наименованіемъ выступали укротители тигровъ, и ни разу терпѣливымъ ножницамъ классификаторшъ

не встрѣчалось упоминанія о загадочныхъ сестрахъ.

Зато вырѣзки изъ старыхъ газетъ содержали мало матеріала, правда весьма однообразнаго. Владиміръ могъ прослѣдить все теченіе ихъ карьеры. Имя сестеръ впервые появилось 15-го мая 19\*<sup>23</sup> года на афишѣ кафе-шантана въ маленькомъ бельгійскомъ курортѣ Спа, затерявшемся въ Арденнскихъ горахъ, славнымъ своей добродѣтельной скукой, водами, игрою въ *petits chevaux* и „ликеромъ Спа“.

Далѣе сестры выступали въ Льежѣ и Намюрѣ; послѣ чего ихъ „открылъ“ талантливый антрепренеръ Гочкорсь и имя „Сестры Генрихсонъ“ украсило собою видное мѣсто афишъ Пикадилли - Музыкъ - Холля, парижскихъ цирковъ и варьетэ крупнѣйшихъ городовъ Стараго и Новаго

свѣта; онѣ побывали даже на аренѣ цирка Соломонскаго въ Москвѣ, но послѣ своего майнцскаго выхода пропадаютъ безслѣдно.

За три протекшіе года на цирковой аренѣ вообще не появлялось аналогичныхъ №№, и многіе полагаютъ, что сестры въ силу какого-либо неблагоприятнаго стеченія обстоятельствъ потеряли солидныхъ антрепренеровъ и были вынуждены выступать въ трѣтьеразрядныхъ циркахъ и паноптикумахъ, не имѣющихъ печатныхъ афишъ и не помѣщающихъ газетныхъ публикацій.

Разочаровавшись въ систематическихъ поискахъ и поручивъ ихъ продолженіе „Парижской конторѣ справокъ всякаго рода, подъ фирмою „Исполнитель“, Владиміръ принялся рыскать на удачу по всѣмъ Ев-

ропейскимъ городамъ. большимъ и малымъ, вѣря въ свое счастье и надѣясь найти слѣды исчезнувшихъ сестеръ.

Онъ сдѣлался завсегдатаемъ цирка и паноптикума, въ которые ранѣе не заглядывалъ.

Часами наблюдалъ, какъ на пескѣ арены чередовались разодѣтая въ зеленый шелкъ негритянка, съ визгомъ пляшущая на канатѣ, велосипедистъ, дѣлающій мертвыя петли, наѣздница, летающая въ бѣшеныхъ сальто-мортале надъ мѣрно галоппирующими лошадьюми, глупѣйшія пантомимы и остроумныхъ клоуновъ, великолѣпнаго Пишеля и эффектную Монтегрю. Научился отличать талантливаго акробата отъ бездарности, началъ понимать совершенство выдержаннаго цирковаго сти-

ля и тонкое искусство композиціи цирковыхъ программъ.

Полюбилъ старинную цирковую традицію и непріятно воспринималъ проявленія циркового модернизма.

Познакомился съ выдающимися артистами арены, съ директорами цирковъ, встрѣтилъ многихъ, выдавшихъ когда то „сестеръ Генрихсонъ“ и подтверждавшихъ ихъ очарованіе и полное сходство съ восковыми бюстами, всегда сопутствующими М. въ его путешествіяхъ; однако, никто изъ нихъ не могъ добавить ни одной новой строчки къ собраннымъ уже ранѣе матеріаламъ.

Только однажды, въ Антверпенѣ ему блеснула улыбка загадочной незнакомки.

Только что мелькнулъ въ ослѣпи-

тельномъ блескѣ электрическихъ лампъ бѣлый крупъ лошади и мадемуазель Монтегрю, раскланиваясь посылала прощальные поклоны направо и направо, на арену выбѣжала рыжеволосая дѣвушка, утопавшая въ зеленыхъ оборкахъ и стала извиваться въ трудномъ номерѣ „Женщина-Змѣя“, перегибаясь махровымъ цвѣткомъ на бирюзовомъ коврѣ, рѣзкимъ пятномъ брошеннымъ на красный песокъ арены.

Сердце Владиміра учащенно забилось, настолько велико было сходство артистки съ восковымъ изваяніемъ, но тщательное разсмотрѣніе въ бинокль установило и черты различія, и прежде всего — голубые глаза.

„Хороша, очень хороша“, произнесъ вслухъ его сосѣдь — пожилой

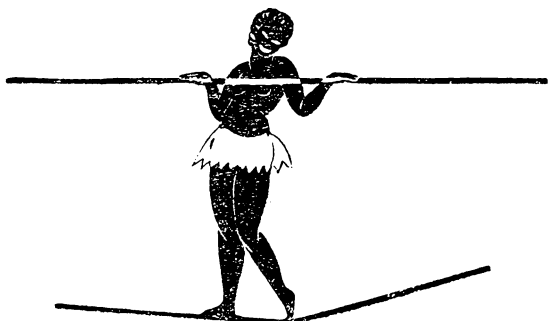
полковникъ, „но все же далеко ей до Кити Генрихсонъ!“.

Нужно-ли говорить, съ какимъ жаромъ Владиміръ принялся разспрашивать полковника, о какой „Кити Генрихсонъ“ онъ говоритъ, какъ безумно былъ радъ онъ встрѣтить почитателя своихъ сестеръ.

Почти всю ночь просидѣли они передъ восковыми куклами въ уютномъ номерѣ Библь-Отель и Владиміръ въ упоеніи слушалъ длинные рассказы полковника о задумчивой Кити и бойкой Бергѣ Генрихсонъ, такихъ умныхъ и развитыхъ, несмотря на свое уродство, столь различныхъ и столь любящихъ другъ друга. Полковникъ, четыре года потерявшій ихъ изъ вида, почиталъ ихъ умершими, или путемъ операціи разединенными и начавшими новую

жизнь на скопленные своимъ уродствомъ деньги.

Передъ разсвѣтомъ они разстались. и Владиміръ не сомкнулъ глазъ въ эту счастливую для него ночь.





## Х. Неудача.

Отрадно улетать въ стремитель-  
номъ вагонѣ  
Отъ сѣверныхъ безумствъ на  
родину Гольдони...

*М. Кузьминъ.*

Прошло полгода. Владиміръ не подвинулся ни на шагъ въ своихъ поискахъ. Безумныя затраты, имъ производимыя, расшатали его матеріальное благосостояніе, а письма друзей увѣщевали бросить безумныя бредни и возвратиться въ Москву, гдѣ онъ найдетъ много новаго и много новыхъ.

Осунувшійся и постарѣвшій, онъ снова ощутилъ какъ-то гуляя по аллеямъ Пратера старую московскую

тоску, посмотрѣвъ грустными глазами вокругъ и, со свойственной ему рѣшительностью, отрекся отъ своей страсти и передъ возвращеніемъ домой рѣшилъ поѣхать на мѣсяцъ отдохнуть въ Венецію, посмотрѣть Джорджоне, Тиціана, старшаго Пальму, портреты Морето и плафоны Тьепло, покормить голубей на площади Святого Марка и вспомнить далекіе дни своей первой любви, раскрывшейся ему въ переливахъ горячаго венеціанскаго солнца.



## XI. Венеціанская встрѣча.

„Ты—читатель своей жизни, не писецъ:

Не извѣстенъ тебѣ повѣсти конецъ“.

*М. Кузьминъ.*

Задержавшійся въ снѣгахъ около Понтебо, Вѣнскій экспрессъ, только на закатѣ спустился на маршию и рисовыя поля, орошаемая мутными водами рѣки По и послѣ полуночи прибылъ на перронъ Венеціанскаго вокзала.

Два американскіе паровоза тяжело дышали, вздрагивая всѣмъ своимъ металлическимъ тѣломъ и выпуская пары. Суетились путешественники, забирая свои портплэды,

спокойно и дѣловито сновали носильщики. Агенты гостинницъ выкрикивали названія своихъ отелей.

„Палась-Отель, Мажестикъ, Альби, Савой-Отель“...

Владиміръ хотѣлъ остановиться обязательно въ той гостинницѣ, куда онъ двадцать лѣтъ назадъ прямо изъ рождественской Москвы привезъ Валентину, закутанную въ зимнюю шубку, какъ будто еще всю запорошенную снѣжинками Петровскаго парка, по которому они катались передъ отходомъ поѣзда.

Онъ, сколько ни силился, не могъ припомнить названія отеля, пока передъ его глазами ни мелькнулъ ливрейный картузь съ надписью „Ливорно-Отель“.

Несомнѣнно, это былъ именно Ливорно-Отель, а комната была № 24.

Черезъ минуту гондола уносила его по чернымъ водамъ каналовъ великаго города масокъ, призрачныхъ зеркаль, молчаливыхъ дождей, героевъ Гольдони, персонажей Гоци и великихъ венеціанскихъ живописцевъ.

Была пасмурная ночь, и тѣмъ болѣе уютной показалась небольшая комната съ пушистымъ ковромъ, кувшиномъ воды, огромной кроватью, стариннымъ венеціанскимъ зеркаломъ и чашкою горячаго какао передъ мягкой кроватью.

Несмотря на вереницы всплывшихъ вдругъ воспоминаній усталость брала свое, и Владиміръ, едва успѣвъ проглотить горячій напитокъ, сомкнулъ утомленные глаза.

Когда онъ проснулся было уже поздно... Гдѣ то ворковали голуби,, доносились всплески водъ канала

обклики гондольеровъ и крики уличныхъ продавцовъ.

Яркіе солнечные блики просачивались сквозь закрытыя жалюзи и плыли въ сладкой истомѣ по полу, наполняя солнечнымъ туманомъ всю комнату.

Владиміръ блаженно потянулся, высвободился изъ одѣяла, спустилъ ногу на коверъ и быстро подошелъ къ окну, и поднялъ жалюзи.

Горячій венеціанскій полдень пахнулъ ему навстрѣчу, и онъ чуть не вскрикнулъ отъ удивленія:

На противоположной сторонѣ канала стоялъ огромный балаганъ и на немъ красовалась огромная золотая вывѣска:

Паноптикумъ - Американъ  
Ново! Чудо природы! Ново!

Поразительный феномень!

Сестры Генрихсонъ!

## ХІІ. Сестры Генрихсонъ.

„Туть весь театръ освѣтился  
плонками и зрители за-  
хлопали въ знакъ удоволь-  
ствія“.

*Карамзинъ.*

Когда Владиміръ подходилъ къ пестро размалеванному входу „Паноптикумъ-Американъ“ для него уже не могло быть болѣе никакихъ сомнѣній. На огромномъ бѣломъ плакатѣ кричали яркими красками написанныя двѣ головы диковинныхъ красавицъ, живо напоминавшія ему давно Знакомыя черты.

Оживленная толпа волновалась у билетныхъ кассъ. Женщины въ черныхъ кружевныхъ накидкахъ, солдаты

въ голубыхъ мундирахъ, солдаты въ черномъ, барсильеры, мальчишки, двѣ русскія экскурсантки, очевидно учительницы изъ Елабуги, ищущія въ паноптикумѣ сильныхъ ощущеній, два, три рабочихъ съ длиннѣйшими шарфами, замотанными кругомъ шеи, нѣмецкое семейство и прочіе персонажи венеціанской толпы.

На широкомъ помостѣ два скарамуша били въ барабаны, а краснощекая Коломбина дѣлала глазки бравому унтеру.

Представленіе было въ полномъ разгарѣ, когда Владиміръ вошелъ въ переполненный зрительный залъ. Фокусникъ-китаецъ, только что вынуженный изъ своего пустого барабана двѣнадцать тарелокъ съ горячими макаронами и нѣсколько бутылокъ Дольче-Спуманте, налилъ двѣ стеклянные тарелки водою, об-



вязаль веревкой и широкимъ взма-  
хомъ пустиль ихъ вертѣться кругами  
вокругъ себя, сопровождая ихъ сви-  
стящій полеть гортаннымъ крикомъ.

Владимірь чувствовалъ, какъ уча-  
щенно билось его сердце и знако-  
мое чувство волнующей страсти,  
подобное тому какое испыталъ онъ  
въ Коломнѣ при первомъ взглядѣ  
на восковую куклу, пронизывало  
все его существо.

Имя сестеръ Генрихсонъ стояло  
въ программѣ непосредственно за ки-  
тайцемъ Ти-Фанъ-Тай, и Владимірь  
въ сладостной истомѣ и съ какимъ то  
затаеннымъ страхомъ ждалъ окон-  
чанія изысканной китайской про-  
граммы.

Китаецъ, захватывая одно за дру-  
гимъ блестящія блюда на кончики  
тростинокъ, заставлялъ ихъ кру-  
житься въ быстромъ вращеніи,

управляя трепетнымъ бѣгомъ цѣлаго десятка тростей. Мѣрное вращеніе блюдець, подъ рокоть струнь несложнаго оркестра, заставило Владимира закрыть глаза во избѣжаніе головокруженія.

Взрывъ аплодисментовъ заставилъ его очнуться. Китаецъ кончилъ и уходилъ, прижимая руки къ груди.

Молчаливые лакеи собрали его принадлежности и поставили на сцену двойной тронъ, сдѣланный въ подраженіе египетскому стилю, и тотчасъ задвинули его ширмами съ изображеніемъ ибиса, сфинксовъ и колоннами гіероглифовъ.

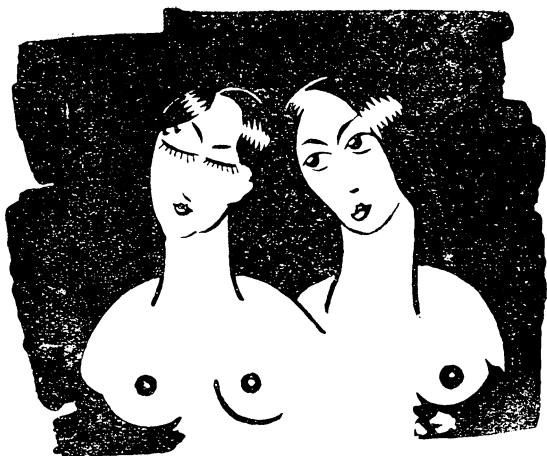
За ширмами слышались шаги, и сбоку вышелъ маленькій арабченокъ въ огромной бѣлой чалмѣ и бирюзовыхъ шароварахъ, и выразительно приложилъ палець къ губамъ. „Тсс... Тсс...“ слышалось со всѣхъ

сторонъ, и понемногу воцарилась тишина. За ширмами раздались звуки струнъ и арабченокъ быстро сложили створки.

Владимірь, впившійся руками въ ручки кресель, почувствовалъ какъ участились удары его сердца, и холодный потъ выступилъ на лбу. Передъ его глазами мелькнули два обнаженныхъ тѣла, едва прикрытыя нагрудниками и поясами египетскихъ танцовщицъ.

Знакомыя змѣи бронзовыхъ волосъ ниспадали на роскошныя формы зеленоватаго опаловаго тѣла, черные глаза Берты растворили его душу, а красный ротъ дышалъ сладострастной улыбкой.

Онъ не видѣлъ, что собственно исполняли сестры, онъ не понималъ даже гдѣ онъ, всѣ образы самаго пылкаго его воображенія, самыя



„Густыя змѣи рыжихъ, почти бронзовыхъ волосъ  
окаймляли блѣднсе съ зеленоватымъ отливомъ  
лицо, горящее румянцемъ и алыми губами и въ  
своей композиціи, укрѣпленное огромными черны-  
ми глазами“.

5\*

смѣлая догадки были превзойдены дѣйствительностью.

Густыя змѣи рыжихъ почти бронзовыхъ волосъ окаймляли блѣдное съ зеленоватымъ отливомъ лицо, горящее румянцемъ и алыми губами и въ своей композиціи, укрѣпленное огромными черными глазами, линіи плечъ, бедеръ, и живота струились подобно изгибамъ тѣла диковинной Венеры великаго Сандро.

Всѣ мечты Владиміра о конечномъ женственномъ, о томъ къ чему всѣ пройденныя женщины были только отдаленнымъ приближеніемъ, казалось, были вложены въ это тѣло.

Арабченокъ задернулъ ширмы. Сестры пропали. Толпа неистовствовала.

Владиміръ всталъ и съ удивле-

ніемъ посмотрѣлъ на кричащихъ людей.

„Зачѣмъ здѣсь эти хари! Подите вонъ! Убирайтесь!“ хотѣлось крикнуть, но онъ удержался и почти шатаясь направился къ выходу.



### ХІІІ. Рыжеволосая Афродита.

На диванѣ лежалъ корсетъ, доказательство ея тонкаго стапа, чепчикъ съ розовыми лентами и чернаховый гребень.

*Карамзинъ.*

Вечеромъ того же дни Станиславъ Подгурскій содержатель паноптикума, австрійскій полякъ родомъ изъ Закопане, познакомилъ Владиміра съ „сестрами Генрихсонъ“.

Голландки весьма чисто говорили по-нѣмецки. Были любезны и очень скромно одѣты въ бѣлое съ пятнышками платье. На стѣнѣ ихъ комнаты висѣла какая то выцвѣтшая фотографія семейной группы и ма-

стерски по - цорновски писанный масляный портретъ. На столѣ тускло блестяль мѣдный кофейникъ.

Разговоръ вначалѣ не клеился. Владиміру хотѣлось скорѣе созерцать, чѣмъ рассказывать. Однако, нужно было говорить.

Вскорѣ терпкій контральто Берты втянуль его въ оживленный разговоръ о цирковыхъ знаменитостяхъ.

Берта—та, чье восковое изображение такъ поразило Владиміра въ Коломнѣ, была немного худѣ своей сестры, типичной нѣмецкой красавицы. Ея лицо было даже менѣе красиво, чѣмъ спокойное классическое лицо Китти. Но какая то пряность, какая то недосказанная тайна пропитывала все ея существо.

Казалось, будто все, что она говоритъ и дѣлаетъ было не настоящимъ, нарочнымъ, произносимымъ



только изъ учтивости къ собесѣднику и мало интереснымъ ей самой.

Ея кажущаяся оживленность была холодна, и огромные глаза часто заволакивались тусклымъ свинцовымъ блескомъ. Казалось, что гдѣ то тамъ, внѣ наблюденія собесѣдника, у нея была иная жизнь, завлекательная, глубокая своимъ содержаніемъ.

Впрочемъ, все это не мѣшало ей быть увлекательной собесѣдницей, а родинка на ея шеѣ лучше всякихъ словъ говорила о томъ, какая славная женщина была сестрой добродушной Китти.

Владиміръ вначалѣ смущенный неестественной близостью близнецовъ, вскорѣ пересталъ замѣчать ее и рассказывалъ о своихъ поискахъ. Удивилъ сестеръ своимъ напряженнымъ къ нимъ интересомъ.

Разстались они друзьями. Уходя Владиміръ узналъ, что портретъ на стѣнѣ, писанный въ цорновской манерѣ, изображаетъ скульптора Ванъ Хооте.



#### XIV. Зарницы.

Подъ сѣнью пурпур-  
ныхъ завѣсь  
Блитсяетъ ложе золотое.

*А. Пушкинъ.*

Всю ночь Владиміра душили кошмары. Онъ задыхался въ змѣйныхъ объятіяхъ бронзовыхъ кось. Влажныя русалочьи руки обвивали его горящую шею, и терпкіе пьяные поцѣлуи впивались въ его тѣло, оставляя слѣды укусовъ вампирьихъ зубовъ.

Утромъ онъ уже отнесъ сестрамъ пучекъ магноли и засталъ ихъ веселыхъ и улыбающихся за утреннимъ кофе. Онѣ задержали его у себя. Вечеромъ онъ каталъ ихъ въ

гондолѣ по Большому Каналу. На другой день онъ снова былъ у нихъ, чѣмъ вызвалъ видимое недовольство Подгурскаго.

Терпкій голосъ Берты, ея наивныя пѣсенки овладѣли имъ всецѣло и до конца. Они были единственная реальность, существующая для него, все остальное былъ дымъ.

Онъ опустошилъ антикварныя лавки, украшая ожерельями зеленоватое тѣло и вплетая драгоценности чинквеченто въ бронзовыя косы.

Неестественная связь сестеръ и вынужденное постоянное присутствіе Китти сначала смущали его. Но вскорѣ опытнымъ сердцемъ уловивъ, какъ начала разгораться тлѣвшая въ душѣ его подруги диковинная страсть, онъ забылъ о Китти. Порывы его чувства казались покоряли обѣихъ сестеръ. И только

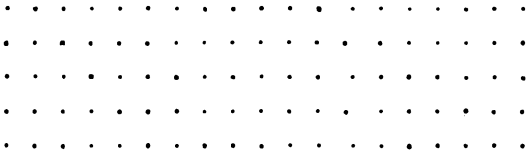
однажды, когда онъ забывшись поцѣловалъ обнаженное колѣно Берты, его глаза встрѣтили полный ужаса взглядъ Китти. Но это былъ только одинъ мигъ. Вскорѣ весь міръ потонулъ въ бушующемъ океанѣ страсти.



## XV. Καταστροφή.

Osculaque insetuit cupide  
luctantia linguis  
Lascivum femori  
supposuitque femur...

*P. Ovidius Naso.*



## XVI. Записки Китти.

Разбитое зеркало означать  
смерть.

*Примѣта.*

### *I. Сентября. Венеція.*

Берта забылась въ полуснѣ.

Пользуюсь минутой записать чудовищное событіе нашей жизни. Я никогда не думала быть писательницей, но событія, окружающія меня столь необычайны, дыханіе смерти окружаетъ насъ со всѣхъ сторонъ и роковая развязка очевидно приближается. Пусть же эти страницы послужатъ завѣщаніемъ бѣдной Китти Ванъ Хооте, одной изъ несчастныхъ „сестеръ Генрихсонъ“ цирковой арены.

Я и сестра Берта родились близнецами, сросшимися своими бедрами, въ зажиточной купеческой семьѣ Ванъ Хооте въ Роттердамѣ.

Роды матери были очень тяжелы и отецъ, желая скрыть наше уродство и предполагая въ послѣдствіи разъединить насъ операціоннымъ путемъ, отвезъ насъ къ двоюродной сестрѣ нашей матери.

Однако, хирурги отказывались дѣлать операцію, говоря, что она угрожаетъ смертью одной изъ насъ. Матушка не могла оправиться отъ родовъ и вскорѣ умерла. Отецъ, не желавшій себя сдѣлать посмѣшищемъ въ глазахъ своихъ кліентовъ и биржевыхъ пріятелей, воспитывалъ насъ весьма тщательно, ни разу впрочемъ не заѣхавъ посмотреть на насъ.

Вскорѣ онъ женился вторично и умеръ отъ случайной вспышки чумы,



занесенной вмѣстѣ съ пряностями съ острова Явы однимъ изъ пароходовъ его кампаніи.

Его вдова, родившая уже послѣ смерти мужа мальчика, ничего, или почти ничего не знала о нашемъ существованіи. Нотаріусъ отца переслалъ тетушкѣ небольшую сумму денегъ, завѣщанныхъ на наше воспитаніе.

Однако, черезъ нѣсколько лѣтъ и этотъ скудный источникъ нашего пропитанія изсякъ. Мы уже были готовы познакомиться съ ужасами нищеты, когда содержатель проѣзжаго цирка предложилъ намъ вступить въ число артистовъ его труппы, своимъ уродствомъ зарабатывать хлѣбъ насущный. Послѣ минутнаго колебанія и слезныхъ просьбъ тетушки, мы, бывшія тогда тринадцатилѣтними дѣвочками,

согласились и через недѣлю уже появились подъ именемъ „сестеръ Генрихсонъ“ на подмосткахъ кафешантана въ Спа.

Не буду описывать нашей цирковой жизни, она такъ однообразна, такъ утомительно тосклива, особенно для насъ, прикованныхъ своимъ уродствомъ къ замкнутой комнатной жизни.

Однако, мы не роптали. Всегда умѣли создать въ комнатахъ своей кочевой жизни теплый семейный уютъ. Найти немногихъ преданныхъ друзей. Я до сихъ поръ вспоминаю Антверпенскаго полковника, такого ласковаго ко мнѣ, съ такимъ вниманіемъ угадывавшаго наши желанія.

Мы не знали отцовской ласки, но онъ часто казался мнѣ отцомъ. Я слышала, что и послѣ онъ очень

тепло отзывался о насъ. Гдѣ то онъ теперь, старый, добрый полковникъ Вотаръ! Иногда насъ катали въ коляскѣ по тѣмъ городамъ, которые посѣщала наша труппа. Изрѣдка посѣщали мы театры, забираясь въ глубину ложи уже послѣ открытія занавѣса и уѣзжая до окончанія спектакля.

Мы зарабатывали очень много и мечтали, скопивъ нѣсколько десятковъ тысячъ франковъ, навсегда покинуть арену и тихо вдали отъ людей окончить нашу жизнь.

Какъ вдругъ, во время нашихъ гастролей въ Гейдельбергъ, крыло трагедіи впервые развернулось надъ нами. Нашъ антрепренеръ убѣдилъ насъ предоставить за очень большіе деньги право репродукціи „феномена Сестеръ Генрихсонъ“ фирмѣ восковыхъ куколъ въ Гей-

дельбергъ .. Я забыла названіе этой фирмы.

Черезъ два дня намъ представили молодого скульптора, весьма умѣло и искусно занявшагося лѣпкой нашихъ восковыхъ изображеній.

На бѣду онъ очень понравился Бергъ, а пѣсенки сестры окончательно свели его съ ума.

Неестественная страсть художника къ прекрасному уроду разгоралась подобно костру Ивановой Ночи. Лихорадочный блескъ въ глазахъ сестры, учащенное біеніе ея сердца, открывало въ ней новое, незнакомое для меня существо. Тягостнымъ мракомъ заволакивались глаза художника.

Гроза приближалась.

Трагическая развязка.....

Берта просыпается Кончаю.

6\*

*3 сентября. Венеція.*

Продолжаю. Трагическая развязка оказалась болѣе ужасной и болѣе скорой, чѣмъ можно было думать.

Однажды вечеромъ, когда атмосфера страсти сгустилась вокругъ насъ настолько, что я готова была, казалось, схватить топоръ нашего циркового плотника Жермена и, зарубивъ роковую связь свою съ сестрой, выброситься въ окно—художникъ, котораго мы звали просто „милый Просперъ“ сказалъ свое полное имя „Просперъ Ванъ Хооте“.

Я не удержалась отъ крика. Двухъ вопросовъ было достаточно, чтобы всякія сомнѣнія пропали. У нашихъ ногъ лежалъ сынъ нашего отца, нашъ младшій братъ. Какъ безумный вскочилъ онъ на ноги и, схватившись за голову выбѣжалъ за дверь.

На утро мы узнали, что онъ повѣсилъся.

Сестра заболѣла нервной лихорадкой. По ея выздоровленіи, мы, связанные контрактомъ, еще два раза появились на аренѣ въ какомъ то нѣмецкомъ городишкѣ. Потомъ уѣхали сначала въ Гентъ, а послѣ въ Брюгге, рассчитывая на свои сбереженія прожить нѣсколько лѣтъ спокойной, замкнутой жизнью.

Меланхолическій перезвонъ брюгскихъ колоколовъ, тишина улицъ, почти безлюдныхъ и черные лебеди на темно-зеленой водной глади каналовъ стали для насъ цѣлительнымъ бальзамомъ.

Первые мѣсяцы мы сидѣли цѣлыми днями у окна. Я перечитывала книги, а Берта безумными глазами смотрѣла на медленно плавающихъ лебедей и сотни разъ

повторяла четверостишье, когда то  
написанное Просперомъ.

„Черный лебедь плыветь надъ зеленой  
волной  
И качаются вѣтви магнолій.  
Ты встрѣчалась когда-то я помню  
со мной  
Но не помню, когда и не помню,  
давно ли“.

Такъ въ небытіи прошелъ годъ,  
другой.. Глаза Берты стали улы-  
баться, она принялась за руководъле  
и не разъ опускала свои тонкіе  
пальцы на струны лютни. На тре-  
тій годъ наши сбереженія стали  
приходить къ концу и пришлось  
подумать о „работѣ“. Мы написали  
письмо одному старому другу.

Черезъ недѣлю къ намъ явился  
человѣкъ въ круглой шляпѣ, ока-  
завшійся импрессарио Подгурскимъ,  
подготавливавшимъ турнэ по порто-

вымъ городамъ Средиземнаго моря. Берта заинтересовалась. Мы подписали очень выгодный контрактъ. Были вмѣстѣ съ паноптикумомъ въ Геліополисъ и Александріи, посѣтили Алжиръ, два мѣсяца прожили въ Барселонѣ, провели зиму въ Палермо и роковая судьба забросила насъ въ Венецію.

*10 сентября. Венеція.*

Продолжаю. На третій день нашихъ венеціанскихъ гастролей утромъ, причесывая свои роскошныя бронзовыя волосы Берта выронила и разбила круглое зеркало... Мы съ ужасомъ посмотрѣли другъ на друга. Изъ всѣхъ ужасныхъ примѣтъ эта была наиболѣе вѣрной. А вечеромъ того же дня Подгурскій привелъ къ намъ московскаго архитектора Вольдемара М., давно



уже искавшаго познакомиться съ нами.

Блѣдный, съ черной ассирійской бородой онъ казался человѣкомъ, продавшимъ свою душу дьяволу, а его говоръ, какъ и вообще у всѣхъ русскихъ, говорящихъ по нѣмецки, былъ пѣвучъ и напоминалъ мнѣ почему то Малагу, которую мы пили въ Барселонѣ.

Отчетливо помню этотъ проклятый вечеръ и ночь, когда сердце Берты билось иначе, чѣмъ обычно, совсѣмъ какъ въ памятные гейдельбергскіе дни.

Казалось, духъ Проспера ожилъ въ этомъ сѣверянинѣ, казалось, тайная власть почившаго несчастнаго брата надъ душою Берты была къмъ то вручена этому блѣдному человѣку съ кошачьими манерами. Напрасны были мои слова и пре-

дупрежденія, безсонныя ночи и общія слезы увлажнявшія общую подушку и клятвы, даваемые на разсвѣтахъ.

Страсть разгоралась, бурный потокъ увлекалъ все и даже я, прикованная уродствомъ къ своей сестрѣ, была какъ то странно подхвачена ея волнами. Его слова, улыбки, прикосновенія, какъ раскаленный металлъ выжигали въ нашемъ существѣ стигматы страсти. И вотъ однажды, когда я въ бѣшенствѣ изступленія впивалась зубами въ подушку, Берта стала принадлежать ему.

Онъ бѣжалъ отъ насъ среди ночи. Сестра пробыла три дня, онѣмѣвшая, какъ камень. Потомъ очнулась. Гнала его прочь. Снова звала къ себѣ. Онъ, блѣдный какъ смерть, лежалъ часами у ея ногъ, потомъ убѣгая, пропадалъ днями.

Потянулись мѣсяцы бреда и сумасшествія... Мы почувствовали, что подь сердцемъ Берты затеплилась новая жизнь. Циркъ давно уѣхалъ. Вольдемаръ заплатилъ за насъ огромную неустойку Подгурскому.

*21 сентября. Венеція.*

Берта бредитъ вторую ночь. Доктора боятся тяжелыхъ родовъ. Говорятъ о нашемъ съ сестрой операционномъ раздѣленіи. Вольдемаръ ходитъ, какъ помѣшанный. Берта, когда просыпается, гонитъ его прочь. Ночью въ бреду зоветъ Проспера.

*23 сентября.*

Сегодня я очнулась и вскрикнула. Берты не было рядомъ. Моя правая рука была совершенно свободна. Доктора говорятъ, что у

Берты родилась дѣвочка, и она въ другой палатѣ.

*29 сентября.*

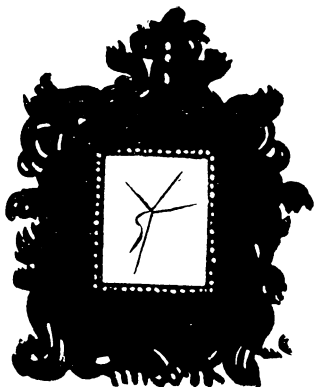
Наконецъ мнѣ рассказали все. Уже недѣля, какъ Берты нѣтъ въ числѣ живыхъ. Когда начались роды насъ разъединили. Опасались, что начавшійся сепсисъ будетъ смертеленъ и для меня. Боже! Дай мнѣ пережить все это.

*30 сентября. Венеція.*

Я еще такъ слаба. Сегодня мнѣ показали мою маленькую красную всю племянницу. Говорятъ, когда началась агонія, Берта прогнала Вольдемара и приказала уѣхать изъ города.

Я поняла ея порывъ и просила доктора, въ случаѣ, если Вольдемаръ вернется, сказать ему, что мы

умерли всѣ,—и Берта, и я, и маленькая Жанета. Когда я поправлюсь, мы уѣдемъ далеко, далеко, и никто, никогда не расскажетъ Жанетѣ о страшныхъ призракахъ ея происхожденія.



## XVII. Безуміе.

Агрономическая помощь населенію была въ Италіи быть можетъ нужнѣе, нежели въ какой бы то ни было иной странѣ.

*А. Чупровъ.*

Владиміръ М., исполняя предсмертное приказаніе Берты, почти качаясь отъ усталости, съ безумными горящими глазами, побрель на вокзалъ, сѣлъ въ первый отходящій поѣздъ, который куда-то его повезъ.

Это былъ необычайный для него поѣздъ. Въ немъ не было иностранцевъ. Приземистые, коренастые культиваторы громко смѣялись и разговаривали о суперфосфатахъ, о дис-

ковыхъ боронахъ Рандаля, ругали своего агронома, почтительно отзывались о какихъ-то Бицоцери, Луцатти и Поджо и поносили, сплевывая на полъ, породу рогатаго скота, называя ее Бергомаско.

Поѣздъ остановился въ Пьяченцѣ, земледѣльческомъ центрѣ Итальянскаго сѣвера.

Это была закулисная Италія. Та, которая составляетъ дѣйствительную націю и которая совершенно неизвѣстна иностранцу.

Итальянцы любятъ мечтать о „Третьемъ Римѣ“. Если первый былъ Римомъ античности, второй — Римомъ папъ, то третій Римъ будетъ Римомъ коопераціи, усовершенствованной агрономіи и національной промышленности итальянской демократіи.

Однако, Владіміру М. до всего этого не было никакого дѣла и онъ уныло бродилъ въ Пьяченцѣ по сельскохозяйственной выставкѣ, смотря откормленныхъ тучныхъ быковъ, скользя глазами по пестрымъ агрономическимъ плакатамъ и машинально слушая пылкія рѣчи какого-то каноника о преимуществахъ англійскаго дренажа, для вѣчно-зеленыхъ Марчито.

Наскучивъ однообразнымъ и скучнымъ зрѣлищемъ трудовой земледѣльской культуры, Владиміръ переѣхалъ въ Павію и близко около нея нашель небольшой монастырь Чертоза, приспособленный для выдѣлки ликера.

Пышныя барочныя часовни, тонкія и легкія колоннады монастырскихъ двориковъ, розаріи, полные



благоуханія, дали ему возможность собраться съ мыслями.

Блуждающій взоръ приобрѣлъ осмысленность, и черезъ четыре дня онъ уже нашель въ себѣ силы вернуться въ Венецію. Съ покорностью выслушалъ вѣсть о смерти сестеръ и своей дочери и сразу сгорбившись и постарѣвъ направился къ вокзалу, не имѣя силъ оставаться въ городѣ, ставшемъ гробницей его счастья.

Когда черная гондола везла его по узкимъ каналамъ, — вечерѣло. Раскошная жизнь пѣнилась и звенѣла надъ Венеціей.



## XVIII. Снова въ Москвѣ.

„Въ концѣ мая 1694 года Госпожа Савинья совершила послѣднее путешествіе въ Гриньянъ“.

*„Плутархъ для дѣвицъ“.*

Курьерскій поѣздъ медленно подошелъ къ московскимъ перронамъ. Мелькнули Триумфальные ворота, дутики, Тверской бульваръ. Владиміръ М. вернулся въ свою старую квартиру въ переулкѣ между Арбатомъ и Пречистенкой.

Владиміръ съ грустью посмотрѣлъ на кресла краснаго дерева, Елисаветинскій диванъ, съ которымъ связано столько именъ и подвиговъ любви, ставшихъ теперь ненужны-

ми; на гобелены эротическіе рисунки уже безумнаго Врубеля, съ такимъ восторгомъ купленные когда-то, фарфоръ и новгородскія иконы, словомъ на все то, что нѣкогда радовало и согрѣвало жизнь.

Его состояніе, нѣкогда значительное, было разрушено до основанія.

Пришлось продать эротическія гравюры, нѣкоторую мебель и великолѣпнаго новгородскаго „Фрола и Лавра“ съ красной по синему пробѣлкой и поразительными пяточными горками.

Владиміръ чувствовалъ себя манекеномъ, маріонеткой, которую невидимая рука дергала за веревку. Друзья его не узнавали. Онъ велъ замкнутый и нелюдимый образъ жизни. Заказы, однако, онъ принималъ, и этотъ послѣдній періодъ его

дѣятельности подарилъ Москвѣ нѣ-  
сколько причудливыхъ и странныхъ  
зданій.



7\*

## **XIX. Призракъ Афродиты.**

Ты сладострастнѣй, ты тѣ-  
леснѣй  
Живыхъ, блистательная  
тѣнь.

*Баратынскій.*

Прошло болѣе года. Владиміръ прогуливался по дорожкамъ Александровскаго сада. Слѣдилъ безразличнымъ взглядомъ весенніе влюбленные пары и гимназистовъ, зубрящихъ къ экзамену.

Поднявъ голову, посмотрѣвъ на полосу зубчатыхъ Кремлевскихъ стѣнъ, озаренныхъ заходящихъ солнцемъ и всѣмъ существомъ своимъ почувствовалъ приближеніе смерти.

Ему болѣзненно захотѣлось еще разъ дышать горячими лучами венеціанскаго солнца, услышать всплески весла въ ночной водѣ канала.

Онъ мысленно подсчиталъ непоплаченные еще долги и, махнувъ рукой, рѣшилъ поѣхать въ Венецію.

Когда вѣнскій экспрессъ, по обыкновенію запоздавшій, спускался въ итальянскую долину, въ Марчито и рисовыя поля, орошаемая мутными водами рѣки По, уже вечерѣло и только послѣ полуночи прибылъ онъ на перроны венеціанскаго вокзала.

Два американскіе паровоза, тяжело дыша, вздрагивали всѣмъ своимъ металлическимъ тѣломъ, суетились путешественники, спокойно и дѣловито сновали носильщики, перетаскивая портплэды и чемоданы. Агенты гостинницъ выкрикивали названіе своихъ отелей:

„Палась Отель! Мажестикъ! Альби! Савой Огель!“ Все было до ужаса повторно.

Владиміръ остановился въ № 24 Ливорно Отель.

Когда онъ проснулся было уже поздно.. Гдѣ то ворковали голуби, доносились всплески водъ канала, оклики гондольеровъ и крики уличныхъ продавцовъ. Все было зловѣще повторно. Все трепетало въ какой то саркастической улыбкѣ Рока.

Владиміръ спустилъ ноги на коверъ и медленно подошелъ къ окну, поднялъ быстрыми движеніями жалюзи и вздрогнулъ, содрогнувшись отъ ужаса.

Передъ нимъ на противоположномъ берегу канала, тамъ, гдѣ нѣкогда стоялъ пакоптикумъ, онъ увидѣлъ огромное витро роскошной парикмахерской, сквозь зеленоватое стекло котораго на него смотрѣли восковыя головы сестеръ

Генрихсонъ, забытыя имъ когда то во время бѣгства изъ Венеціи.

Зловѣщія куклы смотрѣли въ его опустошенную душу своими черными глазами, отѣненными зеленоватымъ опаломъ тѣла и рыжими, почти бронзовыми змѣями волосъ.

Владиміръ опустился на полъ и, припавъ лбомъ къ мраморному подоконнику, заплакалъ.





## XX. Sic transit gloria mundi.

Въ московской квартирѣ М. толстые слои пыли покрывали кресла краснаго дерева, Елизаветинскій диванъ, пузатые шкафчики Александровской эпохи и два тома Паладіо, забытые на диванѣ.

Старая крыса, наконецъ, прогрызла плотную стѣнку письменнаго стола и принялась за пачку писемъ. Узкая шелковая лента лопнула и письма, набросанныя тонкимъ почеркомъ женскихъ рукъ, рассыпа-

лись по ящику. Крыса испугалась  
и убѣжала.

Вотъ и все, господа.



Борвиха на Москварѣкѣ.  
Августъ 1918 года.



## ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.
Глава I. Прологъ . . . . .	7
Глава II. Коломна . . . . .	13
Глава III. Романтическія встрѣчи . . . . .	17
Глава IV. Восковья кукла . . . . .	23
Глава V. Поиски начинаются . . . . .	23
Глава VI. Паноптикумъ „Всемирная панорама“	32
Глава VII. Отъѣздъ . . . . .	39
Глава VIII. Тайна понемногу разъясняется .	42
Глава IX. Въ поискахъ рыжеволосой Аф- родиты . . . . .	47
Глава X. Неудача . . . . .	56
Глава XI. Венеціанская встрѣча . . . . .	58
Глава XII. Сестры Генрихсонъ . . . . .	62
Глава XIII. Рыжеволосая Афродита . . . . .	70
Глава XIV. Зарницы . . . . .	74
Глава XV. Катастрофа . . . . .	77
Глава XVI. Записки Китти . . . . .	78
Глава XVII. Безуміе . . . . .	93
Глава XVIII. Снова въ Москвѣ . . . . .	97
Глава XIX. Призракъ Афродиты . . . . .	100
Глава XX. Sic transit gloria mundi . . . . .	104

**Изданіе автора и художника.**

**Печатана въ типографіи  
„Кооперативное Издательство“.**

**Клише работы цинкографіи  
„Графическое Искусство“.**

**ВЕНЕДИКТОВ**  
ИЛИ  
**ДОСТОПАМЯТНЫЕ**  
**СОБЫТИЯ**  
**ЖИЗНИ МОЕЙ**



**РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ**  
**НАПИСАННАЯ БОТАНИКОМЪ**  
**ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ**  
**ФИТО-ПАТОЛОГОМЪ**

**МОСКВА**  
**V ГОД РЕСПУБЛИКИ**



„... и видел даже, как черная карета, увозившая Настасью Федоровну, показавшаяся мне исполинской, скрылась за углом церкви Спаса, что в Копье, направляясь куда-то по Петровке“.

**ВЕНЕДИКТОВ**  
ИЛИ  
ДОСТОПАМЯТНЫЕ  
СОБЫТИЯ  
ЖИЗНИ МОЕЙ

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ  
НАПИСАННАЯ БОТАНИКОМ X  
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ  
ФИТО-ПАТОЛОГОМ Y

МОСКВА  
V ГОД РЕСПУБЛИКИ



(Р. В. Ц. Москва). № 818. Печ. 1000 экз.

---

1-я Образ. тип. М. С. Н. Х., Пятницкая, 71.

*Мечте возрожденной.*



## ГЛАВА I.

С недавних пор Плутарх сделался излюбленным и единственным чтением моим. Сознаться должен, что подвиги аттических героев немного однообразны, и описания бесчисленных битв не раз утомляли меня. Сколько, однако, неувядаемой прелести находит читатель в страницах, посвященных благородному Титу Фламинину, пылкому Алькибиаду, яростному Пирру, царю эпирскому, и сонму им подобных.

Созерцая жизни великие, невольно думаешь и о своей, давно прожитой и тускло догорающей ныне.

Гуляя по вечерам по склонам берегов москворецких, смотря, как тени от облаков скользят по лугам Луцкого, как поднимается лениво Барви-

хинское стадо, наблюдая яблони, ветви которых гнутся от тяжести плодов, вспоминаешь весенние душистые цветы, дышавшие запахом сладким на этих же ветвях в минувшем мае, и ощущаешь чувственно, как все течет на путях жизни.

Начинаешь думать, что не в сражениях только дело и не в мудрости философов, но и в букашке каждой, живущей под солнцем, и что перед лицом Господа собственная наша жизнь не менее достопамятна, чем битва саламинская или подвиги Юлия.

Размышляя так многие годы в сельском своем уединении, пришел я к мысли описать по примеру херонейского философа жизнь человека обыденного, российского, и, не зная в подробности чьей-либо чужой жизни и не располагая библиотеками, решил я, может-быть, без достаточной скромности, приступить к описанию достопамятностей собственной жизни, полагая, что многие из них не безлюбопытны будут читателям.

Родился я в дни великой Екатерины в первопрестольной столице нашей, в приходе Благовещения, что в Садовниках. Отца своего, гвардии полковника и сподвижника Чернышева в знаменитом его набеге на Берлин, я не помню. Матушка, рано овдовев, проживала со мною в большой бедности, где-то в больших Толмачах, проводя лето в Кускове или у дальних родственников наших Шубендорфов, из которых Иван Карлович заведывал конским заводом в Голицынской подмосковной Влахернской, Кузьминки тож, которую, впрочем, сам старый князь любил называть просто Мельницей.

С годами удалось моей матушке, со старанием великим и не без помощи знакомых и товарищей покойного батюшки, определить меня в московский университетский благородный пансион, о котором поднесь вспоминаю с благоговением. Ах, друзья мои! могу ли я передать вам то чувство, которое питал и питаю

к Антону Антоновичу, отцу нашему и благодетелю. Поклонам и танцам обучал меня Ламираль, а знаменитый Сандунов руководствовал нашим детским театром.

В 1804 году, в новом синем мундире с малиновым воротником, обшлагами и золотыми пуговицами, принял я на торжественном акте из рук куратора шпагу—знак моего студенческого достоинства.

Не буду описывать дней моего первого года студенческого. Детище Шувалова, Меселино и Хераскова воспето гениальным пером Шевыревским, и не мне повторять его. Замечу только, что я уже полгода работал у профессора Баузе над изучением древностей славяно-русских, когда жизнь моя вступила в полосу достопамятных событий, повернувших ее в сторону от прошлого течения.

В мае 1805 года возвращался я из Коломенского с Константином Калайдовичем, рассеянно слушал его вдохновенные речи о Холопьем городке

и значении камня тьмутараканского, а больше следил за пением жаворонков в прозрачном высоком весеннем небе. Вступив в город и расставшись со спутником своим, почувствовал я внезапно гнет над своей душой необычайный. Казалось, потерял я свободу духа и ясность душевную безвозвратно, и чья-то тяжелая рука опустилась на мой мозг, раздробляя костные покровы черепа. Целыми днями пролеживал я на диване, заставляя Феогноста снова и снова согреть мне пунш.

Весь былой интерес к древностям славяно-русским погас в душе моей, и за все лето не мог я ни разу посетить книголюба Ферапонтова, к которому ранее того хаживал нередко.

Проходя по московским улицам, посещая театры и кондитерские, я чувствовал в городе чье-то несомненное жуткое и значительное присутствие. Это ощущение то слабело, то усиливалось необычайно, вызывая холодный пот на моем лбу и дрожь в



кистях рук,—мне казалось, что кто-то смотрит на меня и готовится взять меня за руку.

Чувство это, отравлявшее мне жизнь, нарастало с каждым днем, пока ночью 16 сентября не разразилось роковым образом, введя меня в круг событий чрезвычайных.

Была пятница. Я засиделся до вечера у приятеля своего Трегубова, который, занавесив плотно окна и двери, показывал мне «Новую Киропедию» и говорил таинственно о заслугах московских мартинистов.

Возвращаясь, чувствовал я гнет нестерпимый, котсрый обострился до тягости, когда проходил я мимо Медоксова театра.

Плошки освещали громаду театрального здания, и оно, казалось, тайло в себе разгадку мучившей меня тайны. Через минуту шел я маскарадной ротондой, направляясь к зрительному залу.



## ГЛАВА II.

Спектакль уже начался, когда я вошел в полумрак затихшего зрительного зала. Флигеровы лампы освещали дрожавшие тени дворца Аль-Рашидова. Колосова, послушная рокоту струн, плыла, кружась в амагантовом плаще. Колосова — царица на сцене, и я готов был снова и снова кричать ей свое браво.

Однако, и она, и все сказочное видение калифова дворца рассеялись в душе моей, когда я опустился в отведенное мне кресло второго ряда. В темноте затихшего зала почувствовал я отчетливо и томительно присутствие того *значительного и властвующего*, перед чем ниц склонялась душа моя многие месяцы. Вспомнилось мне неожиданно и ясно, как в дет-

стве тетушка Арина показала мне в переплете оконной рамы букашку, запутавшуюся в паутине и стихшую в приближении паука.

«Браво!! Браво!!» Колссова кончила, и хор пиратов описывал владыке правоверных прелести плененных гречанок. Я уселся плотнее в кресло и, уставив зрительную трубу на сцену, пытался побороть в себе гнетущее меня чувство.

В тесном кругу оптического стекла, среди проплывающих мимо женских рук и обнаженных плеч, открылось мне лицо миловидное, с напряжением всматривающееся в темноту зрительного зала.

Родинка на шее и коралловое ожерелье на мерно поднимающейся дыханием груди на всю жизнь отметили в моей памяти это видение.

Томительную покорность и страдание душевное видел я в ее ищущем взоре. Казалось мне ясно, что и она и я покорны одному кругу роковой власти давящей, неумолимой.

На минуту потерял я ее в движении сцены и по своей близорукости не сразу мог найти без зрительной трубы.

Меж тем сцена наполнилась новыми толпами белых и черных рабынь, и вереницы *pas des deux* сменились сложными пируэтами кордебалета.

Вдруг голос мучительно терпкий пронизал всю мою душу, и в нем снова узнал я ее, и снова всплыло ее чарующее лицо, белыми локонами окаймленное в оптическом круге зрительной трубы моей.

Голос глубокий и преисполненный тоскою просил, казалось, умолял о пощаде, но не калифа правоверных, не к нему обращался он, а к властителю душ наших, и я отчетливо чувствовал его дьявольскую волю и адское дыхание совсем близко в темноте направо.

Занавес упал. Акт кончился. Ищущий взор мой скользнул по движущимся волнам синих и черных фраков, по колышущимся веерам и сверкаю-

щим лорнетам, шелковым канзу и кружевным брабантским накидкам и остановился. Ошибиться было невозможно. Это был он!

Не нахожу теперь слов описать мое волнение и чувства этой роковой встречи. Он роста скорее высокого, чем низкого, в сером, немного старомодном сюртуке, с седеющими волосами и потухшим взором, все еще устремленным на сцену, сидел направо в нескольких шагах от меня, опершись локтем на поручни кресла, и машинально перебирал свой лорнет.

Кругом него не было языков пламени, не пахло серой, все было в нем обыденно и обычно, но эта дьявольская обыденность была насыщена *значительным и властвующим*.

Медленно, устало отвел он свой взор от сцены и вышел в коридор. Я, как тень, как аугсбургский автомат следовал за ним, не смея приблизиться, не имея сил отойти прочь.

Он не заметил меня. Рассеянно бродил по коридорам, и когда теат-

ральная толпа, покорная звону невидимых колокольчиков, стала снова наполнять зрительный зал, остановился, невидящим взором обвел пустеющее фойэ и начал спускаться по внутренним лестницам театра.

Следуя за ним, шел я по неизвестным мне ранее внутренним переходам, тускло освещенным редкими свечами фонарей. Коридоры темные и сырые, поднимающиеся куда-то внутренние лестницы, стены, впитавшие в себя тени Медокса, казались мне лабиринтом минотавра.

Неожиданно блеснула полоса яркого света. Открылась дверь, и женщина, закутанная в складки тяжелого плаща, вышла к нам вместе с потоками света. Оперлась рассеянно и молча на протянутую им руку и, шурша юбками, быстро прошла мимо меня и скрылась в поворотах лестницы.

Я узнал ее. Я знал теперь даже ее имя: в афише значилось, что первую рабыню поет Настасья Федоровна К.

### ГЛАВА III.

Призрачность ночных московских улиц несколько освежила меня. Я вышел из театра и видел даже, как черная карета, увозившая Настасью Федоровну, показавшаяся мне исполненной, скрылась за углом церкви Спаса, что в Копье, направляясь куда-то по Петровке.

Я люблю ночные московские улицы, люблю, друзья мои, бродить по ним в одиночестве и не замечая направления.

Заснувшие домики становятся картонными. Тихий покой садов и двориков не нарушает ни шум моих шагов, ни лай проснувшейся дворовой собаки. Немногие освещенные окна полны для меня тихой жизни, девичьих грез, одиноких ночных мыслей.

Смотря, как церковки думают свою думу, в пустых улицах часто неожиданно всплывают то мрачные колоннады Апраксиновского дворца, то уносящаяся ввысь громада Пашкова дома, то иные каменные тени великих Екатерининских орлов.

Впрочем, в эту ночь моя встревоженная душа была чужда спокойных наблюдений. Неотступные мысли о дьявольских встречах угнетали меня. Я даже не думал. Во мне не было движения мыслей, я просто был, как в воду, погружен в стоячую недвижимую думу о незнакомце.

Сильный толчок заставил меня остановиться. В своем рассеянии я столкнулся плечом в сыром тумане с высоким рослым офицером, который пробормотал какое-то проклятие.

В московском тумане он казался мне гигантского роста. Старомодный мундир придавал ему странное сходство с героями Семилетней войны.

«Ах, это вы!» сказал колосс, смежив меня пронизывающим взором, и,



хлопнув наружной дверью, вошел в ярко освещенный дом.

В каком-то столбняке смотрел я, ничего не понимая, на сверкающие в ночной темноте отпотевшие изнутри окна. Наконец понял, что стою против Шаблыкинского постоянного двора, и отошел в сумрак улиц.

Я снова впал в задумчивость, мысли застывали, как мухи, попавшие в черную патоку, и все чувства бесконечно ослабли. Одно только чувство обострилось и утончилось сверхъестественно, и я сквозь гнилой московский туман ясно ощущал, что где-то по улицам гигантская черная карета возит незнакомца, то приближаясь, то отдаляясь от меня.

Желая оторваться от навязчивого ощущения, я сильно тряхнул своею головой и вдохнул полною грудью ночной воздух.

Налево вырисовывалась черным силуэтом ветла. Впереди терялась во мраке полоца Камер-Коллежского вала. За ним сонно надвинулись напластова-

ния марьино-рощинских домиков. Дымился туман, было далеко за полночь.

Я уже соображал прямую дорогу, желая направиться домой. Думал разбудить Феогноста и велеть ему заварить малину и согреть пунш, как вновь почувствовал, что припадок возобновился, и во мраке улиц вновь ощутил я приближение черной кареты. Хотел бежать. Но мои ноги вросли в землю, и я остался недвижим. Чувствовал, как, поворачивая из улицы в улицу, близился страшный экипаж. Мостовая дрожала с его приближением. Холодный пот увлажнял мой лоб. Силы покидали меня, и я принужден был опереться о ствол ветлы, чтобы не упасть.

Прошло несколько томительных минут, и справа показалась чудовищная карета. В дрожащем голубом свете ущербной луны ехала она по валу, раскачиваясь на своих рессорах. На козлах сидел кучер в высоком цилиндре и с вытаращенными стеклянными глазами.

Карета поравнялась со мною. Дверца ее внезапно открылась, и женщина, одетая в белое, держа что-то в руках, выпала из нее на всем ходу и, запутавшись в платье, упала на землю. Карета немного отъехала, круто повернула и остановилась. Кузов ее неестественно сильно наклонился на бок.

Незнакомец вышел и быстро подошел к женщине. Настенька, это была она, вскочила и с криком: «нет у вас больше надо мною власти!» побежала к пруду... Не имея сил добежать, она подняла предмет, бывший у нее в руках, над головою и, бросив его с размаха в воду, упала. Гнилая ночная вода пруда проглотила брошенное.

Незнакомец приближался. Рыдания Настенькины наполнили мою душу ужасом, и готов я был броситься к ней на помощь, но не смог сделать ни шагу и снова почувствовал себя в безраздельной его власти и, как заговоренный, стоял у ветлы.

«Эй, ты!» услышал я его властный голос, и ноги мои пошли к нему.

Не помню, как мы подняли с земли мою Настеньку, как уложили ее в карету, как сел я с ней рядом, как тронулась карета. Помню только, что долго видел я, отъезжая в ночном тумане, сторбленную фигуру незнакомца, стоящего у берега пруда и упорно ищущего что-то, наклоняясь.



## ГЛАВА IV.

Марья Прокофьевна всплеснула руками, когда внес я Настеньку в ее домик на берегу Неглинки, совсем у церкви Настасии Узорешительницы.

Добрая женщина, царство ей небесное, засуетилась. Уложили мы Настеньку на диван, под часы корельской березы. Марья Прокофьевна отослала меня самовар ставить, а сама облегчила Настеньке шнуровку.

Долго не могли привести мы ее в чувство. Настенька, бедная, плакала, несуразные вещи всякие во сне говорила.

Стало светать. Третьи петухи запели, как пришла она, родная голубушка, в себя, улыбнулась нам и заснула спокойно. Сквозь кисейные занавески и ветви размарина, стоя-

щего по окнам, розовела утренняя заря. Марья Прокофьевна потушила свечу, ставшую ненужной. Ровное спокойное дыхание Настеньки поднимало ее грудь, золотистый локон рассыпался по тонкому полотну подушки. Часы тикали особенно значительно и спокойно в утренней тишине. У Спасовой, что в Копье, церкви ударили к заутрене.

Я с сожалением поднялся со стула и стал разыскивать свою шапку, собираясь уходить. Однако, Марья Прокофьевна меня не отпустила и очень просила вместе с ней выкушать утренний кофий. Хорошая женщина встретила меня, как давнишнего знакомого, хотя допрежде того мы никогда не встречались.

Никогда не забуду я этого дня, все мне в нем памятно. И половики на лаковом полу, и клавиодры с раскрытой страницей Моцартовой, и горку с фарфоровой и серебряной посудой... Но больше всего в памяти остался глубокий диван со спинкой

красного дерева, по которой лениво и сонно плыли блики утреннего солнца и силуэтные профили, тонко рисованные тушью по перламутру и висевшие в затейливых рамках над диваном.

Марья Прокофьевна наливала мне из медного пузатого кофейника третью чашку и в пятый раз заставляла рассказывать, как я спасал Настеньку, когда скрипнула дверь и она сама вышла к нам из спальни в розовом капотике и вся зардевшись от слышанных слов моих.



## ГЛАВА V.

Уже вечерело, когда я шел по Петровке, направляясь к Арбату и держа в руках синий, небольшого формата конверт, на котором Настенькиной рукой было написано: «Господину Петру Петровичу Венедиктову в собственные руки в номера Мадрид, что на Арбате».

Конверт надушен был терпким запахом фиалок, а в моей душе намечалось странное чувство ревности, на которую не имел я никакого права.

Шел я в рассеянности, и у Петровских Ворот чуть не сшибли меня с ног кареты знатных посетителей, съезжавшихся в Английский клуб. Монументальная белая колоннада клуба, окаймленная золотом осенних листьев,



принимала подъезжавших посетителей. Ленты осенних бульваров, полные яркой радости, подчеркивали синеву неба. Сгустки облаков застыли над Москвой. Золото осени падало на новую московскую Данаю, медленно шедшую передо мною по аллее, кого-то поджидая. На ней было синее канзу, а тонкая рука ее сжимала пучок завянувших астр.

Венедиктов сидел посреди 38 номера на засаленном, просиженном зеленом диване и курил трубку с длинным чубуком. На нем был яркий бухарский халат, открывавший волосатую грудь. В комнате в беспорядке разбросаны были различные вещи. Раскрытые баулы и сундуки говорили о готовящемся отъезде. На столе стояла железная кованная шкапулка.

«А, это ты?» холодно и недовольно встретил меня Венедиктов. В полном трепета молчании протянул я ему письмо. Нехотя взял он его и, взглянув на почерк, вздрогнул. «Как!?»

Встал. Провел руками по увлажненному лбу, посмотрев на свет, вскрыл пакет. Стал читать, волнуясь до чрезвычайности.

Почитая свою миссию законченной, счел я за лучшее незаметно уйти, оставив его посреди комнаты с роковым письмом в руке.

На заплеванной и полутемной лестнице мебелированных комнат пахло кислой капустой, и какой-то корявый и веснучатый мальчишка чистил, приплеывая, гусарские ботфорты. Выйдя на улицу, вздохнул я свободно.

Ах, господи, трудно до чрезвычайности носить кому-либо запечатанные письма от той, которую любишь безмерно.

Ступая по лужам и не зная, куда направить путь свой, снова почувствовал я гнет чужой воли над своею душой. Ощущал тягостно, что приказывает он мне вернуться. Кутался в плащ, твердо решив не поддаваться его власти и продолжать путь свой. Душа моя походила на иву, сгибае-

мую ветром надвинувшейся бури, в ее порывах изгибающей ветви свои.

Душа моя становилась безвольна и растворялась бесследно в чужой, мрачной, как воды Стикса, дьявольской воле.

Беспумно отворил я дверь тридцать восьмого номера, как провинившийся школьник стал у притолоки. Венедиктов сиял, вся комната преобразилась.

Вещи, приготовленные к отъезду, были заброшены под диван. На столе в бемских бакалах искрилось шампанское, а устрицы и лимбург смешивались с плодами московских оранжерей.

«Как я могу отблагодарить тебя, Булгаков!» сказал Петр Петрович, протягивая мне бокал. «Сам Гавриил не мог бы принести мне вести более радостной, чем ты! Эх! если бы ты мог, что-нибудь понимать, Булгаков. Душа освобожденная, сбросившая цепи, любит меня!»

Недопитое вино искрилось в бутылках. Венедиктов был уже пьян в выс-

шей степени. Он усадил меня за стол и с пьяным дружелюбием и настойчивостью потчевал меня яствами своими.

Искрометная влага Шампани сделала язык его разговорчивым, и он изливал передо мною любовную тоску свою. Все более хмелея, повторял ежеминутно: «Эх, если бы ты что-нибудь понимал, Булгаков!» Наконец, придя в неистовство, ударил кулаком своей большой руки, на которой сверкнул железный перстень, по столу так, что замерцали свечи, и бокал, упав на пол, разбился с трепетным звоном. Воскликнул: «Я—царь! А ты червь передо мною, Булгаков!» «Плачь, говорю тебе!» И я почувствовал, как горечь наполнила душу мою. Черствый клубок подступил к моему горлу и слезы побежали из моих глаз.

«Смейся, рабская душа!» продолжал он, хохоча во все горло, и поток солнечной, мучительной радости смыл мою скорбь. Все, казалось, наполни-

лось звенящей радостью,—и персики, разбросанные по столу, и осколки разбитого бокала, и канделябры, мерцающих свечей, стоящие на смятой и залитой вином скатерти.

«Беспредельна власть моя, Булгаков, и беспредельна тоска моя; чем больше власти, тем больше тоски». И он со слезами в голосе повествовал, как склоняются перед ним человеческие души, как гнутся они под велением его воли. Как любит он Настеньку, как хотел он ее любви. Не подчинения, а свободной любви. Не по приказу его воли, а по движению душевному. Как боялся он отказаться от власти над нею, страхась навсегда потерять ее. Как отрекся он минувшей ночью от власти над Настенькиной душой и как наградил его Всевышний ее свободною любовью, вестником которой и был синий конверт, мною принесенный.

Ум его темнел и он, размахивая руками, ходил по комнате, как в бреду, рассказывая бессвязно. Тень,

или, вернее, многие тени его шагающей фигуры раскачивались по стенам. В незанавешенные окна вливался холодный свет луны, смешивающийся с мерцающим желтоватым светом восковых свечей канделябра. Глухо донеслись полночные перезвоны Спасской башни.

«Ничего ты не понимаешь, Булгаков!» резко остановился передо мной мой страшный собеседник. «Знаешь ли ты, что лежит вот в этой железной шкатулке?» сказал он в пароксизме пьяной откровенности. «Твоя душа в ней, Булгаков!»



## ГЛАВА VI.

Было около двух часов ночи. Венедиктов налил себе бокал и, выпив, продолжал свой рассказ.

«И вот, понимаешь, когда вошел из темноты я в эту комнату, глаза мои застлались от едкого табачного дыма с примесью какого-то запаха серы. Клубились тяжелые струи дыма, сверкали лампы, вместо свечей уставленные плашками, извергавшие красные и голубые, как от горения спирта, языки пламени. На огромном, круглом, покрытом черным сукном, столе сверкали перемешанные с картами золотые треугольники. Десятка три джентльменов, изящно одетых в красные и черные рединготы, в черных цилиндрах, все с такими же геморроидальными лицами,

как и у моего спутника, в полном молчании, прерываемом проклятиями, играли в пик-медриль. Рыжий, которого я спас на углу Уйтчапеля от разъяренной толпы клириков, пожал ближайшим джентльменам руки и сел за стол, совершенно забыв о моем присутствии.

Предоставленный самому себе, я попытался осмотреться. Комната, показавшаяся мне вначале сводчатой, поскольку можно было рассмотреть сквозь клубы вонючей гари, или была вовсе лишена потолка, или он был прозрачен, так как кругом мерцали мириады звезд, застилаемые струями дыма. В глубине направо высилось колоссальное изваяние, я узнал в нем ритуальное изображение Асмодея в виде козла. Именно так изображен он в книге Брантона. Нет сил передать всю гадость и похотливость неистовства приданной ему позы. С ног до головы изваяние было залито испражнениями, горевшими голубым огнем, а новые и новые толпы посетителей

3\*



с проникновенным трепетом облегчали свои желудки в жертву богу дьяволов. Смрад, поднимавшийся от этой черной мессы, заслонял стоящего на голове чудовища дряхлого Иерофанта с выпяченным животом, размахивающего двумя факелами. В серном тумане светлыми пятнами маячили круглые, покрытые сукнами столы, где джентльмены придавались карточной игре, или обжорству... казалось, передо мной был шабаш ведьм мужского пола.

«Ха, Шлюсен», дернул меня за руку плюгавый старик и просил, передавая карты, закончить партию за него, пока он отлучится, обещая поделить выигрыш пополам.

Я сел, не отдавая себе отчета, и взял в руку карты; кровь прилила у меня к голове и забила в висках, когда взглянул я на них.

Порнографическое искусство всего мира бледнело перед изображениями, которые трепетали в моих руках. Взбухшие бедра и груди, готовые

лопнуть, голые животы наливали кровью мои глаза и я с ужасом почувствовал, что изображения эти живут, дышат, двигаются у меня под пальцами. Рыжий толкнул меня под бок. Был мой ход. Банкомет открыл мне пикового валета — отвратительного негра, подергивавшегося в какой-то похотливой судороге, я покрыл его козырной дамой и они, сцепившись, покатались кубарем в сладострастных движениях, а банкомет бросил мне несколько сверкающих трехугольников. Как удары молота стучала кровь в моих висках. Но я боясь выдать себя, продолжал играть. Карта мне шла, и неистовые оргии карточных персонажей, сплетавшихся во славу Приопа..... решались в мою пользу.

Когда плюгавый джентльмен вернулся, передо мною на столе лежала изрядная кучка металла. Он, видимо, был неожиданно обрадован и, сунув горсть трехугольников мне в руки, похлопал по спине. Воскликнул: «Ха,

Шлюсен» и погрузился в игру. Оторвавшись от дьявольских карт, я обвел залу помутившимся взором налитых кровью глаз. Для меня не оставалось более сомнения, что нахожусь я в клубе лондонских дьяволов. Приходилось думать о бегстве. Рыжий джентльмен, встреченный мною в Уйт-чапле, вряд ли мог быть для меня полезен. Он был в сильном проигрыше, и волосы его бакенбардов в неистовстве сжимались и разжимались, как спирали пружин... На счастье, увидел я двух косопузых коропузиков в красных рединготах, янтарных лосинах и черных цилиндрах, которые, о чем-то споря, простились с соседями и, очевидно, направились к выходу. Незамеченным последовал я за ними. Они подошли к плотной кирпичной стене и, не замедляя шага, слились с нею. Я бросился к ней, выдвигая правое плечо вперед, ожидая удара холодного камня. И только коснулся ее поверхности, как увидал себя в суতোлке вечерней толпы Пикадилли-стрит.

Венедиктов остановился, вытер платком вспотевший лоб, залпом осушил стакан и продолжал:

«Когда я вернулся в гостиницу и разложил семь мною выигранных треугольников посредине стола, долго не мог я понять их значения. Это были толстые золотые и, очевидно, платиновые пластины, с вырезанными на них знаками Аик-Бекара и пентаклем, сильно потертые и бывшие, очевидно, в немалом употреблении. Казалось, впитали они в себя адский пламень Асмодеевой черной мессы.

Недоуменно взял я один из них в руки и смотря на него, задумался. Постепенно меня захватили, нарастая, новые ощущения. Почувствовал прилив каких-то новых чувств, и взор мой, изошренный, как-то свободно проникал сквозь предметы, уносился беспредельно.

В какой-то синеющей дымке, — гпро-чем, даже не в дымке и не на стене, я не знаю, как передать способ моего нового чувствования, — увидел я

девушку, разметавшуюся на своей постели. В беспокойном сне сбросила она от себя одеяло и в нагой своей красоте лежала передо мной. Волнение охватило меня. Ее лицо не было мне видно, и страстное желание видеть его наполнило мою душу. Как бы подчиняясь ему, она с каким-то мучением повернулась ко мне. Как прекрасно было это лицо! Как прекрасна была ее обнаженная грудь! Мне захотелось, чтобы она открыла свои глаза, и глаза ее открылись. Девушка проснулась. В ужасе села на кровати. Я захотел, чтобы она встала, и она встала с мучительным напряжением. Рубашка скатилась к ее ногам и мгновенно она стояла передо мной, как Киприда, рождающаяся из пены морской. Затем опомнилась, накинула рубашку и в ужасе опустилась перед киотом икон, где теплилась лампада... Спасов лик строго глянул мне в душу, и видение потускнело.

Я выронил из руки треугольник и долго-долго смотрел перед собою

в пустоту... Прошел час, может-быть, другой... Дрова догорали в камине. Я понемногу пришел в себя и положил на ладонь другой платиновый трехугольник и чуть не выронил его в ужасе... Стены расступились и увидел я Жанету Леклерк, актрису Паласс-театра, за которой ухаживал я тщетно. Она полулежала на софе, и около софы на коленях стоял офицер шотландской гвардии. Беспорядок одежд, нежность поз не оставляла сомнения в любовности их свидания. Жанета, вся трепеща, в истоме тянула к нему свои обнаженные руки и полуоткрытые губы. Всем напряжением воли я велел ей отпрянуть. Но не было моей власти над ней и она обняла своими обнаженными руками седеющую голову полковника. Бешенство овладело мною, и я велел *ему* встать. Покорный он поднялся с колен, отстранив объятия Жанеты. Я понял, что владею его душой; Жанета, с неведомым для меня в женщине бесстыдством, прильнула к нему

своим телом и я, до краев преисполненный бешенством и чувствуя, что владею каждым мускулом шотландца, схватил его руками ее горло и неистово впился в него, пока судороги не охватили ее тела.

Видение показало мне смерть Жанеты, и я усилием своей воли бросил шотландца головой об угол печки.

Видение пропало, а трехугольник рассыпался в прах, оставив ощущение ожога. Я бросился на диван и забылся тяжелым сном.

Нужно ли рассказывать о беспредельном ужасе моем, когда утром я подошел к дому Жанеты, чтобы рассказать ей об ужасном сновидении, увидел дом окруженный толпой, ее задушенной, а в углу комнаты с разбитым черепом лежащего виденного мною ночью шотландца. Жизнь для меня потухла. Я понял, что выиграл у лондонских дьяволов человеческие души».

---

## ГЛАВА VII.

Речь Венедиктова становилась бес-  
связной. Он хмелел все больше и  
больше. Видение прошлого терзало  
его мозг, он опустился глубоко в свое  
кресло и, сильно затягиваясь, курил  
свою трубку с длинным чубуком.  
Бледный, как смерть, рассказал он,  
как овладел душою и телом моло-  
денькой леди, только что вышедшей  
замуж за члена Верховной Палаты  
лорда Крю и раздавил ее жизнь, как  
раздавливает полевой цветок тяжелая  
нога прохожего; как не мог он даже  
в тумане увидеть владельца души  
с Пентоклем Альдебарана.

Петр Петрович открыл шкатулку  
и показал мне четыре оставшихся  
треугольника, рассказав, что пятого  
талисмана Настенькиной души— он



не мог найти в пруду Марьиной роши, куда его она забросила.

Совсем охмелевший Венедиктов бил кулаком по платиновой пластине неведомой души, приказывая ей явиться перед ним и посылая проклятья. Затем стих и охотно согласился сыграть на мою душу в пикет, в который мне не трудно было его обыграть весьма скоро. Трепетной рукой взял я дьявольский трехугольник. Свечи догорели и гасли. При свете коптящей светильни видел я, как Венедиктов опустил свою тяжелую голову на стол.

Когда я бежал по Мертвому переулку мимо церкви Успенья, что на Могильцах, на Спасской башне пробило три.



## ГЛАВА VIII.

Сердце мое билось, глаза горели, когда шлепал я по осенним лужам и шел, подавленный кругом невиданных событий.

Ночная Москва поглотила меня. Не помню, где я ходил. Срамная баба кричала мне вслед, задирала свои юбки и звала меня в канаву... два раза окликали меня будочники. Очнулся я, заметив перед собою отблески света. Оглянулся и увидел ярко освещенную станцию дилижансов легкой курской почты.

Это было единственное место, где мог я укрыться от накрапывающего дождя и собраться с мыслями в ожидании рассвета. Вошел и отряхнулся от капель. Дождь полил с удвоенной силой. Большая комната почтовой

станции была тускло освещена двумя фонарями.

Направо у столика с двумя полштофами сжались в кучу несколько посетителей, за стойкой дремал хозяин,—пожилой уже ярославец, налево за большим столом в полном одиночестве сидел постоялец, увидав которого я невольно вздрогнул.

Это был странный офицер, с которым столкнулся я прошлую ночью. Он сидел и писал. Тускло мигавшая, нагоревшая свеча освещала его старомодный дорожный мундир, высокие ботфорты, и снова напомнил он мне героев Семилетней войны.

В комнате чувствовалось напряжение чрезвычайное, посетители, на вид люди бывалые, казалось, стихли, как стихают мелкие пичуги, завидев приближение ястреба. Рюмка не лезла им в горло, и хмуро смотрели они на офицера, пишущего что-то на полуплисте бумаги, плохо обрезанном и скрипучим пером. Бросив перо и сложив написанное вчетверо, незнакомэ-

встал и звеня шпорами направился к выходу.

«Приготовь лошадей, Петрухин, через час я уезжаю», сказал он хозяину и вышел под потоки яростного, булькающего в лужах дождя.

«Душегуб проклятый!» процедил сквозь зубы какой-то помятый человек, в котором нетрудно было узнать архивного регистратора. «Не к добру эдакая встреча», поддержал его приятель и взялся за полуштоф.

«Эй, смотритель, это что за цаца?»

«Сейдлиц», отвечал степенный ярославец с какой-то особой боязливой и почтительной осторожностью.

«А кто он такой?»

«А кто его знает! Болтают по-разному. Года два назад стоял он в Новотроицком и выбросил в окно шулера Верлинского. Сказывают, помер!» Фамилия показалась знакомой, и потертый человек, еще больше съезжившись, рассказал, что слышал он, будучи в Питере, о каком-то Сейдлице, не к ночи его помянуть, появившемся на

свет Божий диковинным образом. В те поры, рассказывал он, в Париже орудовал некий Месмер и из людей всяких какой-то палочкой веревки вил; что скажет, то человек ему и сделает, чем велит, тем человек и прикинется. Скажет—быть тебе, ваше превосходительство, волком,— и его превосходительство окорачь ползает и воет. Скажет графине, что она курица,—она и кудахчет.

Так вот, сказывают, велел он одному немецкому гусарскому полковнику, что будто он на седьмом месяце беременности. У того живот-то и вздулся, а Месмер-то этот самый тут же от натуги и помер. Расколдовать гусара никто не мог, а месяца через два он помер, и лейб-медик короля прусского вырезал у него из живота ребеночка, зеленого всего, склизкого, с большою головой...

Рассказ прервался скрипом двери и звяканьем шпор. Сейдлиц вернулся и бросил зрителю кожаный мешок и письмо, запечатанное пятью сургуч-

ными печатями.—«Утром отправить к коменданту», сказал он резко и снова направился к выходу. Все при молкли. Покров ночного ужаса раскрылся над нами. Все мы заметили отчетливо, что, несмотря на проливной дождь, плащ Сейдлица не был смочен ни одной каплей воды. Вскоре я расплатился и вышел.



## ГЛАВА IX.

Утренний сон освежил меня заметно. Сквозь опущенные занавески просачивались солнечные лучи. Круглые солнечные зайчики наполняли комнату спокойным полусветом, играя то на фарфоровом китайце, то на резной рукоятке пистолетов, подаренных отцу Румянцевым-Задунайским и висевших над диваном, служившим мне постелью.

Я чувствовал полное освобождение от гнетущей меня последние месяцы тягости, но почему-то даже не вспомнил о выигранном трехугольнике. Так незначительной казалась мне моя собственная судьба. Душа моя была опустошенной. Ни радости, ни горести я не ощущал. Мне как-то ничего не хотелось. И только одна мысль о Настеньке наполнила мою душу сиянием.

Но что я был для нее? И в то же время, чем я был без нее?

Когда я вошел в синенький домик, там все сияло радостью. Марья Прокофьевна с засученными рукавами клала на подушки сдобный крендель. Розмарин и чайное дерево благоухали запахом радости. Белая кошечка в новом голубом бантике от радости особенно круто выгибала спину. Струны клавикорда, казалось, сами были готовы звенеть Моцартовы песни. Настенька перед зеркалом поправляла свои локоны и складки на кружевной накидке своего шуршащего белого платья. С горестным чувством мучительной ревности выслушал я, что Венедиктова ждут через час,—к двум, что отец Василий от Параскевы Пятницы прибудет сам для обручения и что я такой необыкновенный, такой любезный, такой счастливый на руку человек.

Пробило два. Пришел дядя Николай Поликарпович с супругой в граденаплевом платье, две - три моло-



денькие девушки с большими бантами на головах, подруги Настенькины театральные. Попробовали кренделек. К трем пришел отец Василий. Радость омрачалась тревогой. Закусили. Поговорили о Бонапарте, еще раз закусили. Отец Василий ушел, сказав, что придет к пяти. Стало томительно и страшно. Я подавлял в себе преступное чувство радости и, наконец, предложил сходить к Венедиктову, узнать, в чем дело. Поймал на себе взгляд Настеньки, полный надежды и благодарности. Чуть не бегом пустился по Петровке.

Когда подошел я к Арбатской площади, мне бросились в глаза встревоженные лица прохожих и какая-то растерянность во всем. Меблированные комнаты «Мадрид» нашел я окруженными большою толпою простого народа, а в стороне знакомую колеску обер-полицмейстера. Половые и полицейские долго меня не пускали, а когда я назвал себя и сказал, что надобен мне Петр Петрович Венедик-

тов, чьи-то досужие руки взяли меня за локти, и я был втолкнут без особой учтивости в 38 номер, войдя в который остолбенел.

В комнате все было перевернуто и носило следы отчаянной борьбы. Посредине, среди обломков кресла и скомканного ковра, лежал Петр Петрович с проломленным черепом, а штабс-капитан Загорельский допрашивал побледневшую дородную содержательницу номеров.



## ГЛАВА X.

Уже синенький домик с мезонином показался у меня перед глазами, когда робость овладела мною всецело и до конца. Я не мог сделать ни шагу более. Пусть Настенька проспит эту ночь в неведении! Пусть беспокойство ее не заменится мраком отчаяния!

Вернулся домой. Посмотрел в зеркало. Исхудалое лицо взглянуло на меня из рамки корельской березы. Отяжелевшие впалые глаза отмечались ужасными синяками. Я не мог заставить себя прикоснуться к ужину и, отпив два глотка горячего пунша, велел Феогносту постелить мне на диване постель и потуже набить две трубки Капстаном.

Была глубокая ночь, но не мог я собраться с мыслями даже настолько,

чтобы раздеться и лечь спать. Тупо смотрел, ничего не понимая, на пламя догорающей свечи.

Стук в окно, которое я забыл занавесить, прервал мои тяжелые размышления.

Труба архангела не смогла бы потрясти меня больше; я бросился к окну и сквозь запотелое стекло, в лунном свете увидел Настеньку— простоволосую, закутанную в ковровую шаль.

«Спасите меня: убийца гонится за мною по пятам!»

Я не расспрашивал более: через минуту, забыв о стыдливости (ах, друзья мои! о чем нельзя было забыть в эту минуту!), я быстро переодевал Настеньку, стоящую передо мной в одной рубашке, в свое мужское платье. А когда мы перелезали через забор в сад попадѣи и рука моя судорожно сжимала отцовский пистолет, кто-то тяжело и упорно стучался в дверь моего дома. Через полчаса мы были на знакомом по-

стоялом дворе в Садовниках, а на рассвете друг моего детства и молочный брат Терентий Кокурин мчал нас на своей тройке в город Киржач, без подорожной, без паспортов, к сестре моей матушки Пелагее Ми-нишне.



## ГЛАВА XI.

«... Вот и все, Пелагея Минишна. Больше я и сам не знаю», закончил я свой рассказ и посмотрел на старушку. Моя добрая тетушка вздохнула и принялась устраивать нас, не задавая никаких вопросов, только изредка пристально всматриваясь то в Настеньку, то в меня.

Сшили мы Настеньке нехитрое платьице из аглицкой фланели, которое шло ей к лицу чудесно, как, впрочем, были ей к лицу и тетушкины роброны времен Елизаветы Петровны и славных дней Екатерины.

Первые дни сидела она, родная голубушка, в уголке дивана недвижно, как зверушка в клетке, и как-то испуганно глядела на нас. Отчетливо и с радостной грустью помню я дни,

когда тетушка, окончив с хозяйством, присаживалась к нам и, быстро мелькая спицами, вязала чулки, Настенька смотрела в сад, где опадали последние желтые листья, и, задумавшись, гладила белую кошечку, а я, поместившись у ее ног, читал творения Коцебу, описания путешествия господина Карамзина и трогательные стихи великого Державина.

Ах, друзья мои, как давно это было!

Через неделю отправился я в Москву, нашел Настенькин домик сгоревшим, а Марью Прокофьевну исчезнувшей неизвестно куда.

Прошло около месяца, пока я хлопотал о заграничном паспорте. В те времена паспорта получались столь же трудно, как и теперь. И только в конце октября переехали мы прусскую границу. Перед нами промелькнул Берлин, еще хранивший жизнь Великого Фридриха, Кельн с его башнями и серыми волнами Рейна, Париж, где золото, женщины, вино и гром военной славы уже закрыли

собою заветы неподкупного Максимильяна.

Настенька оставалась безучастной ко всему проплывающему мимо. А я начал впадать в задумчивость тяжелую. Шитый бисером кошелек, в котором моя мать, умирая, передала мне наследие отца, бережно сохраненное ею, становился все более и более легким. Будущее тревожило меня. Мы с Настенькой привязались друг к другу до чрезвычайности. Но положение наше было ложно. Она и думать не хотела о замужестве. Тщательно запирала дверь своей комнаты, уходя спать. Я пытался расспрашивать об ее жизни. Она рассказывала неохотно, больше о своем детстве, о театральной школе. Казалось роковая тайна тяготела над ней, и было нужно еще раз показаться на нашем пути маске трагедии, чтобы новой кровью закрепить наше счастье.

29 апреля 1806 года прогуливались мы в окрестности Фонтенебло, в лесах, где многие столетия охоти-



лись французские короли и где Франциск замышлял фрески своего замка. Буковые стволы, увитые плющем, и колючие кусты застилали нашу дорогу. Я думал с тревогой, что сбились мы с пути, как вдруг услышал лязг скрестившихся шпаг. Подняв голову, увидел, что Настенька, смертельно бледная, смотрит сквозь заросли на полянку. Смотря в направлении ее взгляда, увидел я на зеленой траве группу мужчин в пестрых кавалерийских мундирах, внимательно смотрящих на двух с ожесточением фехтующих. В ужасе узнал я в одном из дуэлянтов Сейдлица. В этот же миг он увидел Настеньку и отступил на шаг. Как удар молнии сверкнула шпага его противника и пронзила его грудь. Он вскрикнул и упал лицом в траву. Секунданты к нему подбежали «C'est fini!» воскликнул пожилой офицер, беря руку безжизненного Сейдлица.

«Уведите меня отсюда», услышал я Настенькин шопот.

Вечером рассказала она, прерывая свою повесть рыданиями, что пьяный Венедиктов в роковую для себя ночь дождался прихода не подчинявшейся ему дьявольской души, проиграл Настеньку Сейдлицу и погиб, желая силою отнять свою расписку у пруссака.

«Теперь я свободна», закончила она свой рассказ, протягивая мне обе руки. В эту ночь она оставила дверь своей спальни не запертой.



## ГЛАВА XII.

Не знаю, что и о чем писать дальше... История достопамятных событий, потрясших мою жизнь, давно уже окончена. Не я даже в ней главное лицо. Господу было угодно сделать меня свидетелем гибели человека, перешедшего черту человеческую, и передать в мои руки его драгоценное наследство.

Венчались мы с Настенькой в тот же год, возвратившись в Москву, у Спаса, что в Копье. Жизнь наша протекала безоблачно, и даже при французе домик наш, построенный на Грузинах, был пощажен и огнем и грабителями.

Настенька бросила сцену и предалась хозяйству. Брак наш не был счастлив детьми, и в тяжком одиночестве посещаю я могилу Настенькину в Донском монастыре.

Вот и вся повесть жизни моей. Упомяну только в заключение, что лет через пять после француза, перебирая сундуки в поисках парадной одежды для посещения торжества открытия памятника гражданину Минину и князю Пожарскому, на которое получили мы с Настенькой билеты, нашли мы старый мой студенческий мундир, из кармана которого выпал золотой трехугольник моей души. Долго мы не знали, что с ним делать и смотрели на него со странностью, пока я не проиграл его Настеньке в карточную игру Акульку. Настенька взяла трехугольник с трепетом, привязала себе на крест, и—странное дело!—с той поры не знал я больше ни скорби, ни горести. Не ведаю их и сейчас, бродя, опираясь на палку, по склонам московским и зная, что душу мою Настенька бережет в своем гробике на Донском монастыре.





ЗЕРКАЛО  
ИЛИ ДИКОВИННЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ  
СТЕКЛЯННОГО ЧЕЛОВЕКА  
РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ  
НАПИСАННАЯ БОТАНИКОМ X  
И НА ЭТОТ РАЗ  
НИКЕМ НЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ  
БЕРЛИН  
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ГЕЛИКОН“  
МСМХХШ

Эта книга  
отпечатана в Берлине  
в 1923 г.  
в типографии М. Маттиссон  
для книгоиздательства  
„Г е л и к о н“

ВЕНЕЦИАНСКОЕ  
ЗЕРКАЛО  
ИЛИ ДИКОВИННЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ  
СТЕКЛЯННОГО ЧЕЛОВЕКА  
РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ  
НАПИСАННАЯ БОТАНИКОМ X  
И НА ЭТОТ РАЗ  
НИКЕМ НЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ  
БЕРЛИН  
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ГЕЛИКОН“  
МСМХХIII





# ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЗЕРКАЛО

*О. Э. Ч.  
посвящает эту книгу  
автор*



## ГЛАВА ПЕРВАЯ,

из которой читатель узнает общее положение дел  
и знакомится с героями нашей повести.

Алексею никогда не удавалось впоследствии передать своим друзьям в обычных представлениях и образах нашего мира свои стеклянные впечатления. Даже больше того — потрясенная память не удержала почти никаких воспоминаний из дней непосредственно предшествовавших началу его тяжелого зеркального бытия.

Последнее, что сохранилось в его памяти отчетливо и даже преувеличенно ярко, был тот роковой день, когда он нашел искомое в подвалах венецианского антиквара.

Он помнил в малейших деталях, как сениор Бамбачи, уже истощивший весь запас хвалебных терминов пяти европейских языков, вяло перебирал перлы своих коллекций.

Венецианское солнце, как всегда горячее, насыщенное запахом меда и моря, ложилось бликами на бедрах амуров Барокко, играло на стеклянных подвесках флорентийских консоли и посылало на потолок антикварного магазина отблески волн канала Грасио.

Однако все сокровища торгового предприятия сениора Бамбачи, как равно и предложения других антикваров Европы оставляли Алексея холодным.

Полгода, уже затраченные на внешнее убранство его новой жизни, не привели еще к разрешению поставленной задачи.

В восьми комнатах его нового яузского особняка предметы художественного творчества пяти веков, схваченные острой гаммой экспрессионизма, несмотря на все усилия, не связывались между собою последним заключительным синтезом.

Была нужна деталь, которая своею острой и пряной силою превосходила бы многократно все остальные слагающие, как капля эстобаны превосходит все элементы сложного напитка, служащего для ее воплощения.

Попытка использовать для этой цели деревянного негритянского идола с бенадирского берега оказалась столь же бесплодной, как и первоначальный замысел построить всю композицию обстановки на маленькой Венере старшего Пальмы.

Алексей заметно терял хладнокровие и ему казалось, что неудача с устройством яузского дома обрекает на неудачу и устройство жизни с его обительницей, чьи рыжие пряди волос обещали дать последний синтез его мятежной, сложной и в общем тяжелой жизни. С нескрываемой досадой Алексей отодвинул рукой какой-то пестрый свадебный ящик старой тосканской работы, предложенный ему выбившимся из сил и недоумевающим антикваром, и решил использовать последнее средство, которое не раз спасало его от намечавшегося коллекционерского сплина.

Через десять минут ворчавший Бамбачи, гремя ключами и освещая путь тусклым фонарем, спустился с ним по сырým каменным ступеням в подвалы, до краев набитые старой рухлядью, служившей венецианцу рудой для извлечения драгоценных перлов его антикварного дела.

Алексей надеялся, что глаз старого торговца, притупленный банальностью рыночного спроса, что-нибудь пропустил в многочисленных обстановках старых палаццо и монастырей, гуртом скупленных и сваленных в бездонные подвалы канала Грасио.

Однако штабели старых запыленных кресел, деревянных церковных принадлежностей и бледных безруких антиков — в мерцающем свете Бамбачева фонаря — показались ему скучными задворками Дантова Ада, истлевающим кладбищем жизни многочисленных поколений.

Щемящая тоска бессилия заполнила сознание Алексея, и он уже собрался махнуть на все рукой и прямо из магазина ехать на вокзал и в Москву, как вдруг остановился потрясенный.

Ему показалось в темноте, направо, около огромной картины, за обломками луйсезовских кресел, присутствие кого-то значительного и властвующего.

Алексей остановился. Сердце его забилось учащенно. Он чувствовал все свои движения связанными, и какая-то власть змеиного взгляда приковывала его к находящемуся во мраке.

Он сделал несколько шагов в темноте, и в колынувшемся свете Бамбачева фонаря в него впились два испуганные глаза.

Через мгновение, показавшееся ему вечностью, он понял, что перед ним за обломками красного дерева стоит зеркало, покрытое паутиной и слоями пыли.

С этой минуты острота сознания погасла для Алексея.

С большим напряжением он мог припомнить в смутных зрительных образах, как привез свою находку к под'езду яузского особняка. Почему-то отчетливо помнил побагровевшую с натуги толстую шею своего камердинера Григория, который кряхтя вынимал из автомобиля ящик с упакованным в нем венецианским зеркалом.

Помнил точно сквозь сон и тот роковой момент, когда он, бессвязно рассказывая свои похождения Кет, стоящей перед ним в озаренном солнцем белом весеннем платье, начал снимать тафту со своей венецианской находки.

Когда упали на пол последние складки желтой ткани и черная стеклянная поверхность изогнутыми



линиями отразила в себе Кет, горшки кактусов и купола церквей, горой поднимающихся к закатному небу на Кулишках за Яузой — все преобразилось в маленьком домике и чудилось, будто невидимые струи стеклянной жидкости заливают собою комнаты и растворяют все окружающие предметы, делая их призрачными.

Зеркальная поверхность, казалось, излучала из себя тонкую отстоенную веками отраву и она постепенно насыщала собою воздух, мебель, картины, цветы, стены . . .

Голова начинала кружиться, и учащенно дышала грудь. Перед глазами Алексея в свинцовом зеркальном сумраке прыгало его изображение и изображение Кет, постепенно овладевавшее им безраздельно.

Всматриваясь в зеркало, он не узнавал в отражении спокойных черт своей подруги и отводя глаза от зеркала на ее собственное лицо не узнавал ее также.

Передвигая тяжелую мебель, невольно касаясь ее руки, бедер, он чувствовал, что все существо Кет

переродилось. Ее всегда холодное и спокойное тело казалось горело, как расплавленный металл.

Под навождением странного зеркала Алексей чувствовал и себя каким-то другим. Все те элементы его сущности, которые он научился с годами подавлять, с неожиданной бурностью и силой проявились вновь.

Чувствуя в своих объятиях трепещущее, жаждущее тело своей подруги, Алексей в порыве страстного чувства прижал ее к своей груди и хотел поцеловать ее алчущие губы. Смутно помнил, как Кет спрятала свое лицо за его плечо и, выскользнув из его объятий, скрылась.

Минуту спустя, и это особенно резко, на всю жизнь, врезалось в его память, — он оказался перед помутневшей поверхностью венецианского зеркала.

Венецианское стекло отразило его, как отражает поверхность волнуемой нефти, ломая контуры в кубистических формах смещающихся плоскостей.

Алексей напряженно вглядывался в искривленные черты своего лица, ясно чувствовал всю гру-

бость своей страсти, и эта грубость странно нравилась ему и радовала его.

Какая-то страшная сила тянула все ближе и ближе к пожелтевшей поверхности тусклого стекла. Вдруг он вдрогнул, с ног до головы покрылся холодным потом и как в подвалах канала Грасіо, увидел перед собою два устремленных на него иступленных, совершенно чужих, глаза.

В то же мгновение почувствовал резкий толчек. Его зеркальный двойник схватил его правую руку и с силой рванул внутрь зеркальной поверхности, заволновавшейся кругами, как волнуется поверхность ртути.

На одно мгновение их тела слились в борьбе и затем Алексей увидел, как его отражение выскочило, заплясало, высоко подпрыгивая посредине комнаты, а он должен был вторить ему в постепенно утихающем зеркальном пространстве.

## ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой на сцену появляется стеклянный человек и описание его злодеяний, виденных Алексеем из своего зеркального заточения.

Вертявый зеркальный человек, бывший ранее в зеркальном мире Алексеевым отражением, — в неистовом восторге плясал по большому персидскому ковру, вывезенному из Шираза, топча его каблуками и высоко подбрасывая ноги.

Через минуту он остановился. Обернулся к зеркалу и залился диким хохотом, показывая язык и грозя кулаками.

Алексей с отчаянием невероятным чувствовал, что черты его лица повторяют гримасы дьявольского двойника, а руки и ноги в каком-то онемении, несмотря на все сопротивление, следуют дви-

жению его тела. Стекланный человек, упоенный своею властью, подошел почти вплотную к зеркалу и, иронически выгибаясь в неистовстве невероятных поз, заставлял Алексея свиваться в телодвижениях, напоминавших позы наиболее фантастических персонажей Жака Калло.

Изгибая руки и ноги в вынужденной дьявольской гимнастике, Алексей был подавлен до предела той вульгарностью и омерзительной похотливостью, которыми был преисполнен его чудовищный двойник и ощущал даже некоторое удовлетворение тому, что его сознание оставалось старым, и ни одна его мысль не должна была вторить мыслям стекланный человека.

В бешеной злобе сопротивления, его скоро начало радовать и то, что в иступленности жестов стекланный человек не всему мог заставить его следовать. Иногда бешеным сопротивлением воли Алексей задерживал упорством своей руки какое-нибудь омерзительное движение своего двойника, что приводило последнего в неистовство и заставляло в страхе отступать от зеркала.

Напряженная борьба, завязавшаяся сквозь перепонку безмолвной поверхности стекла, внезапно оборвалась.

В комнату вошла Кет.

Рыжие пряди ее волос были перехвачены жемчужными нитями и легкая зеленоватая совершенно прозрачная мосульская ткань оттеняла опаловые линии тела.

Алексей, потрясенный до последних глубин своего духа, готов был склониться на колени, но руки его мучительно и неожиданно стали хлопать в ладоши, вторя движениям восторженного стеклянного человека, который также заметил появление Кет и обернулся к ней.

Алексеему показалось, что хрустнули его шейные позвонки и, подчиняясь неведомой силе, голова отвернулась в глубину зеркального мира. В то же время он почувствовал в своих руках скользкое стеклянное тело двойника своей подруги.

Кет была скрыта от его глаз. Обращенный волею зеркального человека внутрь зеркальных пространств, только по движению стоящего перед ним

стеклянного существа мог он судить о судьбе своей подруги.

Зеркальная женщина, чьи скользкие стеклянные бедра он вынужденно обнимал, улыбалась ему искривленной иронической улыбкой и изображала страх и удивление, охватившие повидимому настоящую Кет.

Алексей смутно помнил, как через минуту его руки, подвластные чужой воле, грубо схватили, внушавшее ему отвращение, стеклянное бившееся тело, и неведомая сила повернула его лицом к поверхности зеркала.

В то же мгновение он, поработанный, униженный, безвольный, увидел, как билась в руках его дьявольского двойника живая, родная ему девушка и как стеклянные руки сжимали ее своими мертвыми объятиями, оставляя на опаловом теле синяки от твердых пальцев.

Через мгновение все уплыло в зеркальном эфире и слилось для памяти Алексея в каком-то тяжелом бредовом сне.

Потянулись дни. Тяжелые свинцовые дни алексеева зеркального бытия.

Впоследствии он не мог вспомнить без содрогания и ужаса — тот призрачный безмолвный эфир, в котором плавали бледные существа, иногда повторяющие движения своих земных оригиналов, и еще более страшное полубытие в те минуты, когда ни одна зеркальная поверхность не ловила черты движений того, кому стеклянные существа были двойниками.

Алексея поражали те горести и радости, крайне жалкие на земную оценку, которые составляли жизнь этих призрачных существ, их постоянное сопротивление своим „хозяевам“ и желание овладеть ими, заставить их отражать свои движения и помыслы.

С содроганием натыкался он в трепетном сумраке зеркальных пространств на отражения давно умерших людей, некогда бывших великими и продолжающих ныне угасать свое зеркальное бытие, лишь изредка заглядывая из своих inferнальных далей сквозь стеклянную пленку в земной мир, пугая своих потомков и наводя трепет на девушек, склоненных над гадающим зеркалом.

С содроганием, доступным для его постепенно угасающих чувств, Алексей убеждался, что его двой-



ник все более и более овладевал его земным уделом и с все возрастающим злорадством и иронией подмигивал ему по вечерам, когда, отложив бритву и понуриив щеки и подбородок, он смотрелся в зеркало перед тем, как войти в спальню Кет.

Алексей, с тоской неиз'яснимой, наблюдал горестную судьбу своей подруги. Взятая силой, она надломилась, как надламывается под ударами топора молодая береза; подчинилась воле зеркального человека, считая его за Алексея, не понимая прошедшего, не пытаясь думать, обессиленная, безучастная всему.

В ночных оргиях, которым Алексей должен был вторить в стеклянных пространствах, сжимая в объятиях ее стеклянный двойник, она была безучастна и отдавалась порочной игре, как кукла, без радости, без воли, без сопротивления.

Алексею казалось, что в этой безучастности Кет он находил какое-то моральное удовлетворение в безисходном круге своих несчастий; с тем большим удовлетворением замечал он, что порочная страсть стеклянной женщины, брошенной в его объятия законами зеркального мира, сдерживалась движения-

ми подлинной Кет, и кипящая ярость темной стеклянной души не могла ни на один миллиметр изменить вялые движения своего стеклянного тела.

Однако скоро и этому ничтожному моральному утешению начал приходить конец. К ужасу своему Алексей заметил однажды изменение своего собственного сознания и ему стало казаться, что окружающий его стеклянный эфир начал просачиваться сквозь поры его тела и костные покровы черепа и растворял в стеклянном небытии его человеческую сущность. Совершая по воле своего дьявольского двойника какую-то неистовую жестикуляцию, он ощутил, до ужаса отчетливо, что неведомая ему моральная плотина начала размываться и скоро стеклянные волны поглотят и растворят его душу.

Ощущение дикой безысходности и предельного отчаяния наполнили его душу тем более, что перед его глазами проходили ужасные картины гибели его земной подруги.

Бледная, изнеможенная, с провалившимися, но неизменно прекрасными глазами, с непонятно виль-

гарно выкрашенными губами, она, как сомнамбула, почти качаясь и не держась на ногах, сгорала с каждым днем.

Однако Алексей был бессилён чем-либо помочь ей. Стекланные волны все больше и больше заливали его сознание.

Память окончательно выпала из его духовного мира и только изредка inferнальный мрак его бытия освещался какими-то проблесками сознания.

В одну из таких минут Алексей, несмотря на полное притупление своих чувств, был потрясен до пределов невероятных. Перед его глазами блеснули зубы зеркального человека, вонзившиеся в плечо Кет, струи крови, оросившие ее грудь, стекланные пальцы, впившиеся в ее горло и полные ужаса и отчаяния глаза его подруги. Он видел, как вырвалась она, металась по комнате и бросилась к запертой двери своей студии. Через мгновение дикой борьбы дверь сорвалась с миниатюрных петель и Кет упала у подножия венецианского зеркала.

Алексей увидел, как стекланный человек поймал за волосы его подругу, притянул к себе, поднял и бросил в бешенстве на пол, снова готовый

кинуться на свою жертву. Огненные круги запрыгали в Алексеевых глазах. Всем напряжением, оставшейся у него воли, он бросился к свившимся в неистовой борьбе телам .....

В звоне разбитого стекла почувствовал себя упавшим на пол земной комнаты в обломках венецианского зеркала.

Через мгновение увидел насыщенные ужасом глаза Кет, созерцавшей раздвоившегося Алексея и своего двойника, в животном страхе убежавшего прочь.

В голове Алексея даже не мелькнуло мысли о его преследовании, он забыл о нем, бросился к своей несчастной рыдающей подруге и, прижав ее голову к своей груди, стал покрывать ее плачущие глаза поцелуями и гладить ее волосы.

А когда она успокоилась немного и судорожные рыдания перестали содрогать ее тело, он бережно поднял ее на руки и понес в спальню. Проходя мимо овального трюмо, нечаянно взглянул в него и в ужасе чуть не выронил своей драгоценной ноши.

В зеркальных пространствах в воздухе плыло безжизненное тело Кет, ни чем не поддерживаемое. В стеклянном эфире ничто не отражало Алексея, и он почувствовал, что его отражение в трепетном страхе бежит где-то по московским улицам.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

сравнительно спокойная, дающая передышку автору, героям его повести, а также читателям.

Прошла неделя с того дня, когда Алексей вновь приобрел свое земное бытие. Кет спала. Пряди ее волос разметались по батисту подушки и брови вздрагивали, подчиняясь видениям сна.

Алексей, отложив в сторону французскую, в желтой обложке, книжку романа, уже более часа смотрел, как дышет ее грудь и думал.

Он пытался подвести итоги тем разрушениям, которые произвел в его жизни налетевший зеркальный ураган и решить основной вопрос о возможности восстановления. Черепахи, кактусы и немецкие эротические эстампы, которыми двойник засыпал его комнаты, были убраны в первые же дни.

Постепенно возобновлен внешний облик старого бытия, но все же Алексею чудился какой-то запах тления, и гадливое ощущение оскверненности наполняло его душу, когда он входил в комнаты столь любимые раньше. Потеря своего зеркального отражения и нежелание ежеминутно напоминать Кет о происшедшем заставили его убрать из дома все зеркала, и композиция убранства, основанная на бездонных провалах противупоставленных зеркал, беспомощно обнажилась и умерла.

Однако, как полагал Алексей, в мире вещей все могло быть исправимым. Он полагал также исправимым и то стеклянное оцепенение мозга, которое временами возвращалось к нему, превращая его в манекена. Горячие ванны и ленивый покой его жизни уже начали смывать эту отраву зеркальных пространств.

Его гораздо более волновала Кет. Она была искренне рада его возвращению, глубоко изумилась рассказу о стеклянном бытии, в ужасе содрогалась при воспоминании о пережитом и мечтала об отдыхе долгом и уединенном.

Однако спокойные ласки Алексея, нежные кроткие прикосновения его поцелуев как-то не насы-

щали ее; Алексею чудилось, что разбуженная вулканическая страсть не может удовлетвориться человеческой любовью и человеческой лаской и это тревожило его безмерно.

Его беспокойство возрастало до пределов чрезвычайных, когда до сознания доходило смутное опасение, что стеклянный двойник не рассеялся, как дым, как навождение детской сказки, но продолжает жить где-то рядом, караулит свою добычу и борьба между ними далеко еще не кончена.

Вчера, в вечерней сутолоке Кузнецкого моста, среди цилиндров и колеблющихся эгретов дамских шляп, ему показались на мгновение знакомые черты, а в контурах прохожего поспешно убежавшего по Петровке он как будто бы узнал костлявые члены зеркального человека. Этот полунарек на встречу находил себе подкрепление в многочисленных московских сплетнях о несуществовавших алексеевых похождениях по игорным домам и другим московским вертепам.

Поэтому в ночной темноте, под мерные удары маятника часов, перед лицом спящей Кет он почти чувственно ощущал, как его противник бродит по



московским улицам и взбирается по длинным лестницам с одного этажа на другой.

Кет зашевелилась, нахмурила брови, проснулась и села на диване. Его улыбка застыла на устах, когда он увидел, что спокойные полузакрытые глаза ее вдруг с диким ужасом раскрылись и, выбросив вперед руки, она с нечеловеческим криком упала. Алексей обернулся в направлении ее рук и за отпотевшими стеклянными дверями балкона на фоне изогнутых черных деревьев сада увидел устремленный на него взор глаз, потрясший его впервые в подвалах канала Gгасіо.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

наполненная борьбою Алексея с его зеркальным двойником и заставляющая читателя из одного места города Москвы переноситься в другое и обратно.

Алексей выстрелил в последний раз наугад в камыши около „Горбатой Ветлы“, куда, как ему показалось, метнулась преследуемая тень и остановился в изнеможении, нервно сжимая рукоятку „Кольта“.

Налетевшие волны ветра трепали осенние листья на изгибающихся ветвях прибрежных ив, по небу судорожно летели обрывки облаков, шаря лунными тенями по зарослям сада.

Алексей казался потрясенным и, мысленно измеряя по каплям свои ничтожные моральные силы,

чувствовал, как потерянность овладевала им все более и более.

Поздним вечером, когда бледная анемичная Кет, ушедшая глубоко в себя, разливала в круглой столовой чай, он вяло обсуждал с ней план обороны и борьбы с неуловимым противником и более пытался поймать взгляд своей подруги, тревожно следя за движениями ее души, чем слушал ее вялые реплики.

Окна были плотно занавешаны; камин, полузакрытый экраном, наполнял теплотой и спокойным уютом. Однако тревожная значительность оплотняла собою все: и мигающее пламя догорающих дров, и шорохи ветра в саду, просачивающиеся сквозь занавески окна, и случайный звон чашки, и тихие голоса собеседников, и беспричинный лай цепных собак, пущенных в сад.

Кет вяло отвергала все остроумные алексеевы проекты заманить стеклянного человека в западню и иные способы организации обороны и утомленным голосом просила на всю зиму уехать в подмосковную, где он несомненно оправится от потрясений и сможет считать себя в безопасности от страшного преследователя.

Вглядываясь в черты ее лица, Алексей замечал в нем что-то терпкое, темное, брошенное в ее душу взором того другого, с чем он был бессилен бороться и что приводило его к последней грани отчаяния.

Постепенно его сознание как-то физически сузилось. Комната, догоравший камин и ампирные контуры мебели потонули в туманном сумраке; его мозг охватил припадок зеркального оцепенения и вскоре все поплыло в неподвижном движении.

Он видел в полузабытии, как встала и ушла Кет, но был бессилен подняться за нею.

Ему казалось, что весь его дом глубоко погружен на дно зеркальных пространств и там за стенами, где бушевала стеклянная буря, десятки его двойников совершенно одинаковых, как стая рыб в сонном пруду, кружатся в ожидании добычи.

Он ощущал, что только тонкая перепонка стен и занавесей отделяет его от всенпоглащающего стеклянного ужаса, а сами стены дома постепенно растворяются в зеркальном эфире, как растворяется сахар в стакане горячего чая.

Он смотрел на огонь догорающих углей, и синие уносящиеся в высь языки пламени выросли и заполняли все пространство, застилая собою всю комнату, куда бы не направлял он свой взор...

Среди их волшебного полета он увидел растворившуюся дверь и перед ним не то наяву, не то во сне, показалась почтительно склоненная фигура камердинера Григория.

С трудом Алексей убедил себя в том, что эти мелькающие очертания, колеблющаяся в сумраке фигура была реальностью. Но она тотчас же растворилась в пространстве, когда Алексей заметил в ее руках серебряный поднос, а на нем среди всего колеблющегося мира твердый не меняющийся квадрат голубого конверта. Он взял своими бесконечно удлинившимися пальцами твердый конверт, показавшийся ему стеклянным, и внезапно сквозь его пергамент вспыхнули и загорелись обратным зеркальным письмом написанные слова, начали расти, и казалось океан стеклянного эфира хлынул в комнату сквозь распавшиеся стены дома.

Алексей, терявший последнюю жизненную опору, вскрикнул, и кошмар, клубясь, рассеялся.

Перед ним стоял перепуганный Григорий и действительно держал на подносе большой голубой конверт.

Отослав Григория и вскрыв пакет, Алексей увидел лист своей собственной бумаги, исписанный его почерком, но только обратным зеркальным письмом, в котором дьявольское стеклянное существо глумилось над всем для него святым, называло его убийцей и предлагало в разрешении спора встретиться завтра в 6 часов утра у Симонова монастыря и в честном поединке решить, кому из них надлежало жить под солнцем.

Алексей не пытался заснуть всю эту ночь.

Григорий подходил к дверям его кабинета и в 2 и в 4 часа утра и видел его склоненным перед столом, в свете мерцающих канделябр, разбирающим свои бумаги.

Вся острая ясность сознания вернулась к нему. Отчетливо понимая решительный характер минуты, Алексей приводил в порядок свои дела, написал три завещательных письма и как только начало светать накинул синее пальто, вставил новую обойму в свой „Кольт“, потушил свечи, дым от которых

крутами стал опускаться книзу, и, окинув взором место где было так много продумано и так много задумано, нажал едва заметный выступ у одного из книжных шкафов. Шкаф бесшумно отодвинулся и обнаружил потайный ход под садом ведущий к Язуе.

Через полчаса Алексей стоял у подножия ив Лизина пруда. Полоса тумана застила собою водную поверхность и поворот шоссе, и обнаженные уже осенью деревья чернели изгибами своих ветвей сквозь сизую утреннюю дымку. Восходящее солнце сверкало на каплях росы. Занимался день роскошного московского бабьего лета.

Целых двадцать минут Алексей нервно ходил взад и вперед по вязкому берегу. Стали показываться люди. Какой-то тряпичник порылся своим крюком в куче мусора и пытливо посмотрел на Алексея. Проехали громыхая возы с капустой и, громко разговаривая, прошли две бабы в пестрых платках и кофтах горошком, кутаясь от утренней свежести в шали и боязливо поглядывая на Алексея.

Время очевидно было упущено.

Алексей оглянулся кругом и вдруг ужасное подозрение наполнило его душу. Ясно понял, что непростительно глупо попал в элементарную ловушку. Бегом бросился к заставе.

А когда взмыленный лихач подвез его к Яузскому особняку, он увидел его окруженным взволнованной толпой и через мгновение грубые руки полицейских втокнули его в кабинет покинутый им два часа назад, где за своим столом он увидел, когда-то встречавшегося ему ранее, судебного следователя Иванцова.



## ГЛАВА ПЯТАЯ

и последняя, содержащая конец нашей истории и не мало доказательств тому, что за Москва-рекою существует нечто выходящее за пределы допускаемого благонравными педантами.

Алексей сразу понял все, когда его обвинили в насильственном увозе его жены Кет и убийстве старика Григория, оказавшему этому увозу сопротивление.

Три дня пришлось Алексею доказывать недоказуемое. Три дня он, запертый в своем кабинете, подвергался унижительным врачебным экспертизам, нелестным перекрестным допросам и только показания лихача Хорхордина и найденного через газетные объявления тряпичника, установили его алиби, подтвержденное несомненными различиями

в костюме и единогласными утверждениями всех свидетелей, что убийца был левшей, что согласовалось с характером нанесенного смертельного удара.

Потом его оставили в покое в опустевшем яузском доме.

Алексей проплакал целые сутки в осиротевшей комнате Кет, лишенный сил даже обдумать происшедшее. Его смятенную душу потрясало все близкое Кет.

Он расплакался, найдя красный карандаш, касавшийся ее губ. Непонимающим тупым взором смотрел на ее серые туфли, брошенные посредине комнаты, с ужасом угадывал последние строчки, на которых остановился ее взор в роковую ночь в оставшейся недочитанной книге.

Только два дня спустя у него появилось некоторое сомнение в неизбежности ее гибели, столь очевидной в первые дни.

Алексей постепенно собрал свои мысли и память и начал более спокойно восстанавливать картину ее похищения.

Как это часто бывает, новое потрясение смыло собою старое и он избавился совершенно от припадков стеклянного оцепенения, постепенно вернув себе былую бодрость.

Осматривая в сотый раз комнату Кет, так и оставшуюся неубранной с рокового утра, он заметил однажды между краем тюфяка и доскою кровати несколько медных монет, зубочистку и сложенную вдвое картонную карточку, очевидно оброненные во время борьбы и просмотренные судебными властями.

Карточка представляла собою рекламный плакат хиромантки и гадалки на бобах и кофейной гуще Элеоноры де Раманьеско, проживающей где-то на канаве в переулках Пятницкой улицы. . .

Это было очень немного, но все-таки это был след. Прилив какой-то неожиданной бодрости потряс все алексеево существо, казалось сами витиевато напечатанные черные буквы рекламной карточки излучали из себя флюиды энергии.

Ему пришлось немало покружить по набережной Канавы, между Пятницкой и Кадашевскими переулками, пока нашел он то, что требовалось по сложному и по московски запутанному адресу.

Был разгар московского бабьего лета. Водовоз захал на средину обмелевшей канавы и наливал черпаком воду в свою зеленую бочку.

Двое мальчишек плескались в мутной воде, а куча ребят толпились около мороженщика.

Реяли паутины и купы белых облаков стояли неподвижно в призрачном осеннем небе.

Во владении мещанина Перхушкина за деревянным, крашеным вохрой двухэтажным строением оказался чахлый сад запыленной акации и сирени, а за ними мрачный монументальный корпус, каменный, с маленькими окнами, возведенный задолго до Севастопольской кампании.

Алексей долго дергал за ручку дверного звонка и стучал, не решаясь войти в полуотворенную дверь, но, наконец, набрался смелости и перешагнул за деревянный, обитый когда-то войлоком, порог и поднялся по осевшей, покосившейся вправо лестнице во внутренние покои.

Какой-то странный запах лампадного масла, ладана и старых книг, который иногда бывает в архиерейских домах и епархиальных музеях, затуманил его сознание.

Он вошел в первую комнату, очевидно приемную гадалки, и невольно ироническая улыбка мелькнула на его устах, при виде наивной декорации должествующей очевидно по представлению хозяйки поразить сознание ее клиентов.

Дико размалеванные по стенам пентакли и астральные треугольники, знаки зодиака и странная мебель в виде треножников, египтообразных курильниц и ампирных соф, в роде той, на которой возлежит госпожа де Рекамье на картине Давида, — в свете осеннего яркого дня казались театральным бутафорским хламом, купленным по случаю на Смоленском рынке.

Алексей кашлянул и прислушался. В подавляющей тишине он мог различить только, как в отдаленной комнате капля за каплей капала какая-то жидкость.

Очевидно хозяйка не ожидая посетителей ушла по соседству и должна была с минуты на минуту вернуться в оставленный дом. Алексей хотел было в ожидании присесть на одно из „магических“ сидлиц, но, вспомнив свои в сущности сыщицкие наме-

рения, решительно двинулся вглубь внутренних комнат.

Следующая зала поразила его своим еще более выдержанным магическим убранством. Старинные реторты и перегонные кубы, какие-то астролябии и целые ворохи старинных книг в желто-серых переплетах свиной кожи, с черными латинскими литерами на корешках вселили в его душу странное смущение, тем больше, что все эти предметы носили не музейный характер, а имели очень держанный вид и были брошены так, как будто ими только сейчас пользовались.

Алексею вдруг показалось, что все они имеют здесь недекоративный, а свой подлинный, первоначальный серьезный смысл и у него закружилась голова.

Он взял в руки толстый том, на корешке которого стояло слово „Oculto“ и не успел отстегнуть застежку переплета, как книга раскрылась, вырвалась из его рук и закружилась волчком, стала вертеться по комнате, теряя страницы и разбрасывая встречающиеся предметы.

Алексей попятился к окну и отскочил от него потрясенный. Вместо перхушкинского огорода он увидел сквозь оконные стекла сотни ослабившихся рож слетевшихся зеркальных призраков.

Одним прыжком он бросился к двери и выскочил в нее. В ужасе увидел, что вместо гадалкиной приемной, из которой только что ушел, он очутился в огромной зале, в стены которой были вделаны огромные мутные зеркала, где плыли как поверхность реки мутные волны каких-то отражений, а в воздухе — то там, то тут — вспыхивали искры электрических разрядов и нестерпимо пахло озоном.

У Алексея все более и более кружилась голова, в глазах запрыгали огненные кольца, лоб покрылся холодным потом и он схватился за голову.

В ту же минуту он увидел перед собою в зеркале неистово прыгающее свое отражение, показывающее ему нос и с диким смехом угрожавшее кулаками.

С воплем ярости Алексей кинулся на него и со всего размаха ударился о твердую поверхность. Понесся звон разбившегося стекла. Алексей ринулся в какую-то темную бездну и увидел себя сколь-

зящим вверх ногами по поверхности гигантской черной агатовой воронки, на противоположной стороне которой в диком неистовстве скакал его двойник, а внизу суживающегося раструба сверкало залитое ртутью жерло колодца.

Пальцы скользили по агатовому спуску, не оставляя даже следов от впивающихся в полированный камень ногтей, и Алексей видел, как его двойник готовится нанести ему последний удар, когда он достигнет до устья ртутного колодца.

Нечеловеческим напряжением воли в последний момент у самого края бездны Алексей почти с колен прыгнул через ртутную поверхность прямо на спину склонившегося стеклянного человека. Не ожидавший нападения, он оступился и рухнул вниз всей тяжестью своего тела, увлекая с собой Алексея. В неистовой борьбе они слились в клубок и медленно скользили под сверкающую поверхность разжиженного металла.

В ту же минуту Алексей почувствовал, что его колени уперлись в дно. Нечеловеческим порывом он схватился за горло стеклянного человека и, припав к его телу головой, рванул в глубину ртутной



бездны. Поднял свою голову на верх и продолжал душить под покровом ртути слабеющего и барахтающегося противника.

Жидкий металл прыгал под его руками и он не видел ничего кроме сверкающей поверхности, так как сам он в ней не отражался.

Стекланный человек стих, но руки Алексея продолжали его душить, испытывая странное ощущение будто его жертва набухает, превращается в кисель и расплывается. Алексей вздрогнул, увидев, как на ртутных волнах запрыгали какие-то пятна. Мгновением позже он понял, что это куски его отражения, еще разорванные, еще не подчиненные. И в тот миг, когда его пальцы сомкнулись, потеряв остатки растворившегося в ртути стеклянного существа, он увидел вновь свое полное и подвластное ему отражение.

Силы оставили его и он с ужасом почувствовал, что ноги и руки подгибаются, и Алексей в изнеможении склоняется в адские объятия жидкого металла.

В следующее мгновение он ударился головой, обо что-то твердое и на миг лишился сознания. Придя в себя, понял, что лежит на зеркале, нашел

силы подняться и увидел себя посредине совершенно пустой залы перхушинского дома, лежащим на поверхности странного по форме зеркального вещества, как будто бы политого на пол и застывшего.

Насколько можно было разобратъ при лунном свете, заливавшем все — окна дома были давно выбиты, космы паутины, обоев и пакли спускались со стен и полуобвалившегося потолка.

Алексей встал и убедился, что зеркальная поверхность покорно отражает его; прошелся по комнате и в двери, лишенные створок, увидел, что дом был пуст и очевидно многие годы необитаем.

Качаясь, спустился по полуобвалившейся лестнице.

В темноте перхушинского двора на него залаяла собака, в воротах покосилась баба, щелкая с каким-то солдатом орехи.

Он дотащился до первого извозчика и велел ему ехать к себе за Язу.

Чувствовал, что все лицо в крови, а тело ныло от синяков и кровоподтеков.

На Спасской башне пробило одиннадцать.

Возница тянулся медленно, и сумрак ночных московских улиц не то радовал, не то болезненно да-

вил Алексея. На Пятницкой его сознание обожгли сверкающие зеркала какой-то парикмахерской. Он остановил извозчика, выскочил из пролетки и с трепетом сердца подошел к витро. Зеркальный овал покорно отразил его бледное, изнеможенное, со следами стертой крови, лицо. Снова поехал.

И ему казалось, что длятся годы и проходят дни от удара одной подковы до удара другой.

Не желая будить домочадцев, остановил извозчика за садом, отворил ключем калитку и вошел потайным ходом.

Бесшумно отодвинулся шкаф с эльзевирами и вместе с потоками света на Алексея пахнуло теплом и уютom его кабинета.

Он вздрогнул и оцепенел: у камина освещенная розовыми отсветами догорающих дров в старом вольтеровском кресле сидела Кет. Услышав шорох, она подняла глаза.

London 1922.

**НЕВЫБРАЙНЫЕ  
НО  
ИСТИННЫЕ**

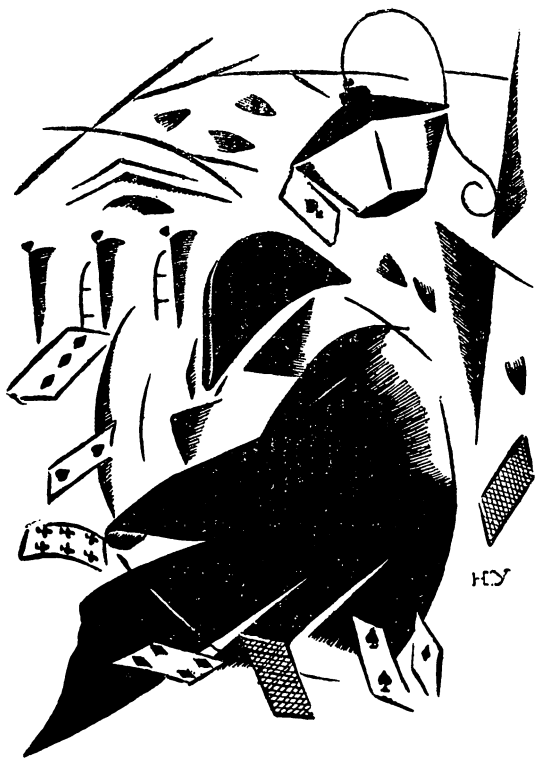
**ПРИКЛЮЧЕНИЯ**

ГРАФА  
БЕДОРА  
МИХАЙЛОВИЧА

**БУТУРИНА**

НУ

ОПИСАНИЕ  
ПО СЕРЖАНТЫМ ПРЕДАННЫМ  
МОСКОВСКИМ  
БОГАТЫРЬМ  
И МАЛОСТРИЖАНИИ  
СВЯТОПАТРОСОВ



...и все это, перемешиваясь с картами Брюсова пас'янса, летело в порывах бури перед глазами Бутурлина.

НЕОБЫЧАЙНЫЕ,  
НО  
ИСТИННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

графа Федора Михайловича  
БУТУРЛИНА,

описанные по семейным преданиям  
московским ботаником X. и иллю-  
стрированные фитопатологом У.

МОСКВА,  
VII год республики.

Отпечатано в 5-й типо-ли-  
тографии „Мосполиграф“,  
Мыльников пер., 14, в ко-  
личестве 500 экземпляров.  
Главлит № 16922. Москва.

*Ольгуньке, девочке моей родной—  
чтобы не скучала!*









## Г Л А В А I.

### **Начало.**

„Летят за днями дни крылаты“.

*Н. Поповский.*

Догорали дни московского бабьего лета. Белые плотные облака недвижно стояли на синем, почти кубовом небе. Золото осенних кленов расцвечивало Коломенское и склоны Нескучного. В воздухе реяла паутина. А по ночам холодные лунные тени летящих облаков тревожно проносились по дорожкам московских садов.

Это были последние дни безмятежного московского жития молодого Бутурлина.

С трепетом необычайным вспоминал он впоследствии эти неповторяемые дни своей юности.

Он помнил Орлова, который, устав от созерцания кулашных боев и могучего ма-

ха белоснежного Сметанки, часами сиживал на зеленых лугах Нескучного и смотря в воду поставленной перед ним серебряной купели—старик уже не мог поднимать головы—ловил отражения бесчисленных голубиных стай, выброшенных с его голубятен в безоблачное небо и белыми облаками реющих над крестами Новодевичьего и над излучиной Москва-реки.

Это было время, когда Параскева Жемчугова пленяла сердца в Кусковском театре и двадцать домашних театров московских вельмож безуспешно пытались оспаривать ее славу; когда Головкин, Теорез и Чефроли наполняли строящиеся дворцы московской знати полотнами великих мастеров, рожденными под горячим солнцем Италии и в призрачных туманах Амстердама, а Новиков и Шварц в тиши массонских лож задумывали планы работ московских мартинистов.

Федору Бутурлину эти дни казались вереницей балов, спектаклей Медоксова театра и чинных ужинов Аглицкого клуба, где бывал он, сопровождая старика отца, и где выслушивал скучая суждения бывших

государственных мужей об ошибках петербургской политики и кознях иллюминатов.

Кочуя с бала на бал, соперничая с Корсаковым в успехах покорения сердец, а с Дундуковым в числе выпитых бокалов, Бутурлин мог почитать себя счастливейшим из смертных, пока в одну из осенних ночей провиденью не оказалось угодным бросить его в круговорот событий необычайных, выбивших на многие годы его жизнь из спокойного русла.

На балу у Разумовских со старой теткой княжны Гагариной сделалось нехорошо и Марфинька, за которой он более месяца уже ухаживал тщетно, не кончив котрданса должна была покинуть бал, едва успев заткнуть за обшлаг его рукава коротенькую записку.

С трудом разбирая невнятные слова, Федор вновь и вновь перечитывал четыре строчки наполнявшие его душу радостью. В волнении необычайном понял наконец, что Марфинька велела ему быть этою же ночью в два часа у ее балкона в саду.

Еще не было и двенадцати и Бутурлин не представлял себе, как вынесет он вечность двухчасового ожидания.

Суতোлка бала его угнетала; его сознание давили мигающие свечи канделябр, голубые лакеи, бесшумно ступая, разносившие прохладительные напитки и толпы девушек, скользивших по лаковому полу амфилады парадных комнат.

Он невпопад отвечал на вопросы и был бесконечно рад, когда удалось ему незамеченным выбраться с бала и, кутаясь в плащ, скрыться в осеннюю холодную темноту улиц Лефортова.

Было холодно и сыро. Луна все чаще и чаще застилалась громадами надвигающихся на нее туч и не прошло и получаса, как Федор под струями тяжелого осеннего дождя уже жалел, что слишком поспешно покинул теплые комнаты дворца Разумовских.

Порывы ветра не раз сносили с его головы черную шляпу, а развевающийся плащ, казалось, перестал быть защитой от дождя. Водяные потоки заливали камзол, и Федор с трепетом соображал во что

обратиться его наружность через час подобного испытания.

Путаясь в темноте в переулках и спотыкаясь о подвертывающиеся под ноги тумбы, он никак не мог выйти назад к Разгуляю и был несуразно обрадован, когда среди всеобщего мрака перед ним блеснули ярко освещенные, отпотелые изнутри окна какого-то дома. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, начал Бутурлин что было сил стучать у его под'езда.



## ГЛАВА II.

### Граф Яков Вилимович Брюс.

„Начавши играть на Тотус, от-  
казаться уже от него не можно“.

*Расчетистый карточный  
игрок 1796 года.*

Дикая ссора с двумя заспанными и на смерть перепуганными лакеями, хотевшими выбросить Федора на улицу, готова была уже перейти в драку, когда звуки серебряного колокольчика приостановили недвусмысленные намерения встревоженных охранителей.

Через минуту старик камердинер, ходивший в комнаты с докладом о происшедшем, вернулся и сообщил, что его сиятельство граф Яков Вилимович Брюс изволили закончить вечерние пасьянсы и пред началом утренних просят гостя к ужину.

Мертвенно бледные руки старика, держащие неоконченный вязкою чулок, и все его дряхлое, готовое рассыпаться, тело, облеченное в старую потрепанную ливрею, дрожало от волнения, вызванного необычайностью событий.

Да и Бутурлин, потрясенный именем хозяина, которого почитал умершим еще при жизни своего деда, чувствовал, как учащенно забилось его сердце, когда его провели по ряду полупустых комнат, по дубовому полу которых бежали тени туч, то открывавших, то закрывавших лунный диск.

Однако, он овладел собою и бодро вошел в дверь ярко освещенного кабинета, открытую ему почтительно и в трепете склонившимся лакеем.

— Садись, батюшка, Федор Михайлович! Садись! Гостем будешь!—услышал он дрожащий старческий голос и увидел перед собою за огромным, покрытым зеленым сукном, столом, ярко освещенным двумя мерцающими двенадцатисвечными канделябрами и заваленными десятками карточных колод—дряхлого старика в мундире

петровских времен, увешенного звездами и орденами и с зеленым зонтиком на глазах, защищающим старческое зрение от нестерпимо яркого мигания свеч.

Федор, смущенный происшедшим невероятно, опустил в кожаное кресло.

Старик, тасуя одну за другою, лежащие перед ним колоды, смотрел на Бутурлина из-под зеленого зонтика, своим серым упорным стеклянным глазом и что-то говорил, покачивая головой.

Слова не долетали до потрясенного сознания Бутурлина и старик, как бы поняв это, повелительно протянул руку в темноту.

Из полумрака внезапно возник лакей, держащий на подносе два бокала, очевидно, с горячим пуншем, так как пламя голубыми огненными языками поднималось над ним.

Огненная влага пламенем пробежала по жилам Федора, с первого же глотка ударила ему в голову, и старик, казавшийся где-то далеко, далеко, вдруг вырос и приблизился, а слова его старческого голоса со звоном ударили по голове.

Из завязавшейся беседы Бутурлин понял, что граф Яков Вилимович, уже мно-

гие десятилетия покинувший свет и лишенный сна, в своем уединении денно и ночно занят раскладыванием причудливых пасьянсов, находя это занятие не менее завлекательным и значительным, чем тот жизненный пасьянс, который довелось ему пережить.

Старческие восковые руки, с длинными желтыми ногтями, трогали потемневшие от времени и диковинными фигурами, разложенные на зеленом сукне, карты, поясняя значение получившихся сочетаний.

Минута бежала за минутой. Голубые Мейсенские фарфоровые часы с пузатыми амурами, стоящие на камине за креслом графа, показывали половину второго, а старик все говорил и говорил.

Из его бессвязных слов выходило, что он более пятидесяти лет не видал ни одного живого человека и в то же время оказывалось, что он доподлинно знает всю подноготную о всех знакомых и друзьях Бутурлина лучше, чем сам Федор.

При этом выходило как-будто бы даже и не так, что старик узнал это из карт, а как-то иначе... Будто сами карты, разло-

женные на зеленом сукне Лефортовского дома, правят незримо человеческими судьбами.

— А как ты, батюшка, Федор Михалыч полагать изволишь, сколько бы дала графиня Дарья Минишна, чтобы промежь них не пиковая, а червонная десятка легла?— говорил, усмехаясь старик и тыкал своим костлявым пальцем в трефовую даму, окруженную черными мастями.

„Что за вздор!!!“ и Бутурлин поднялся из своего кресла, сиюсь вырваться из гнетущего плена.

„Что? Вздор? Карты мои вздор“ желчно закричал старик. „Да если б ты знал, паскудыш, что здесь разложено! Да если б ты“... старик разразился кашлем, схватился за грудь и, видя, что Бутурлин угрожающе наклоняется к столу, выхватил из середины пасьянса бубновью даму и закричал в ярости.

„Не видеть тебе твоей Марфиньки! Анафема!“.

„Федор в бешенстве сгреб со стола разложенные карты пасьянса в кучу и, схватив одну за другой несколько колод,

начал швырять ими в побагровевшее лицо Брюса.

Старик с закатившимися глазами полетел на пол замертво; карты вихрями кружились в воздухе. Свечи зашипели и начали гаснуть, а в открывшиеся внезапно двери хлынула дворовая челядь с факелами и дрекольем.

Бутурлин однако торопился; не принимая боя, вышиб ногою балконную дверь и вместе с вихрем несущихся в воздухе карт выпрыгнул в ночную темноту.

## ГЛАВА III.

### В порывах ветра.

„Вообразите богиню любви, когда она вышла из океана; представьте себе глаза небесного цвета, большие, томные, сладострастные, губы маленькие, пунцовые, пленящие милою улыбкой“...

*Н. Макаров.*

Ветви деревьев в графском саду гнулись с треском и били Бутурлина по голове. Вихрь, как сорвавшиеся с цепи демоны, рвал облака на небе, вывески с домов, листья с ветвей и все это, перемешиваясь с картами Брюсова пасьянса, летало в порывах бури перед глазами Бутурлина.

Федор, тщетно кутаясь в плащ и удерживая рукою треуголку, стремился выйти на Покровку к Гагаринскому дому...

Однако, порывом ветра его всегда сшибало с ног, как только он подходил к нужному повороту. В ушах свистело и ему казалось даже, что временами он видит за поворотом улицы на крыше дома толстые щеки надрывающегося Гиперборея, совсем такого как его рисуют в книгах космографии и на старинных картах..

Ветер, ежеминутно менявший свое направление, отдувал его ото всякого нужного ему поворота. Федор, окончательно выбившись из сил, прислонился к стене дома и прислушался, как учащенно билось его сердце.

Сквозь порывы бури услышал он, как на Спасской башне пробил дв а. Час свидания был упущен. Тщетно проборовшись еще полчаса, он отдался наконец на произвол бури и ветер понес его по улицам, как носит по дорожкам сада осенний кленовый лист; прогнал его сквозь какие-то переулки, пустыри, бурьяны, снова переулки и вдруг стих. Бутурлин в изумлении оглянулся. Он стоял посредине какого-то незнакомого ему сада. Черные мокрые стволы лип окружали его со всех сторон.



Порывы бури улетали куда-то вдаль. Пал дал крупный осенний мокрый снег.

Пред ним из сырого мрака выплывали слабо освещенные и плотно занавешенные изнутри окна и стеклянная полуоткрытая дверь.

Федору почему-то показалось, что он в саду Гагаринского дома и там за этими шелковыми занавесями его ждет Марфинька.

Понял свою ошибку только когда затворил за собою дверь и, вдохнув насыщенный духами воздух, раздвинул материю занавесок.

Перед ним на краю кровати сидела незнакомая девушка и горько плакала.

Черные пряди ее наполовину распущенных волос падали на тонкое полотно украшенной кружевами рубашки. Кругом в страшном беспорядке было разбросано только что снятое платье, казалось еще хранившее теплоту ее тела.

Комната тонула в каком-то теплом, насыщенном запахом женских духов и розовой пудрой тумане.

Плечи девушки вздрагивали и она, смотря прямо перед собой широко откры-

тыми черными глазами, плакала беззвучно катящимися слезами.

Сердце Бутурлина билось все сильнее и сильнее. Потрясенный до глубины души, он почувствовал, что вся жизнь его до этой минуты потеряла цену в его глазах.

Покорный волшебному очарованию, он раздвинул скрывавшие его занавеси и опустился на колени около незнакомки.

Та вздрогнула, в ужасе посмотрела на него и, когда он попытался что-то сказать, с неожиданной быстротой приложила палец к губам в знак молчания, а другою рукою молча, но повелительно показала на дверь.

Федор, забывши где он и что с ним, схватил ее руку и покрыл поцелуями.

Девушка силилась освободиться и встала. В каком-то пароксизме любовного опьянения Федор, не сознавая что делает, не выпустил ее руки и только еще крепче сжал ее, между ними завязалась напряженная молчаливая борьба. Вырываясь из непрошенных объятий, девушка неосторожным движением сбросила ленту со своего плеча и ее рубашка скатилась на пол.

Федор дико вскрикнул.

Вслед за белоснежной белизной груди перед ним блеснуло тело, все сплошь покрытое рыбьей чешуей.

Почти тотчас в соседней комнате за дверью послышались тяжелые мужские шаги и через мгновение, в которое девушка успела спрятать своего мучителя за занавесями двери и накинуть на себя какой-то халат, в комнату вошел седой человек в военном мундире.

На его сердитый окрик девушка ответила что-то, называя старика дядей, он недоверчиво отвернулся от нее и, подозрительно осмотрев комнату, уже собрался уходить, как вдруг порыв ветра, ворвавшийся в полуотворенную дверь, поднял дверные занавеси чуть ли не до потолка и Бутурлин оказался лицом к лицу перед побагровевшим от ярости полковником.

Старик с диким ревом бросился на него и после нескольких мгновений ожесточенной борьбы избитый, в разорванном платье Федор вырвался и, выскочив в сад, убежал, оставив плащ в руках своего преследователя.

## ГЛАВА IV.

### Иллюминаты.

„В прошедшую ночь найден подле Вестминстерского Аббатства человек неизвестно кем зарезанный“.

*Н. Макаров.*

Ветер уже прекратился, но снег валил хлопьями, как в январе.

Руки и ноги Бутурлина коченели, он скользил в снежных сугробах и не понимал, в какой части города находится.

На какой-то площади наткнулся на спящего стоя будочника. Желая его разбудить, потянул его за рукав и в ужасе увидел, как будочник, не разгибаясь, упал навзничь, как кукла и Федору даже показалось, что у сторожа под ногами была круглая подставка, как у деревянного солдата.

Наконец, добрался до реки и несказанно обрадовался, когда из гнилого тумана пред ним выплыли знакомые очертания Яузского моста.

Пар клубился над черными струями реки. Деревянная настилка моста глухо и естественно громко застучала под ногами Федора.

Дойдя до середины моста, Бутурлин в ужасе бросился бежать обратно—ему показалось, что из черных вод Яузы высунулись какие то несусветные хари и, дико хохоча, протягивают к нему свои лапы.

Снежный вихрь и мороз снова охватили его.

Пробираясь из улицы в улицу, он вдруг заметил, что сзади крадутся по стене две какие-то тени. Он перешол на другую сторону улицы, потеряв в порывах бури свою шляпу и бросился бежать к перекрестку, но внезапно остановился. Из-за угла высунулась чья-то голова и тотчас скрылась. Федор резко повернулся, сбил с ног напавшего на него из темноты человека, но в тот же миг почувствовал, что на его голову накинута мешок, схва-

тили за ноги, повалили и, завязав во что-то мягкое, понесли.

По движениям своего тела и толчкам понял он вскоре, что его втащили по лестнице в какой-то дом и положили на пол. Через несколько мгновений почувствовал острую боль в ноге от неосторожно затянутой веревки. Его развязали и сдернули с головы мешок.

Перед ним за длинными, покрытыми черным сукном, столом сидело несколько человеко-подобных существ. Их головы были закрыты капюшонами, в прорезы которых сверкали белки разъяренных глаз.

По железным и золотым эмблемам, лежащим на столе, по семисвечникам колеблющимся в руках двух стоящих по бокам и также замаскированных прислужников, Бутурлину стало до жути ясно, что он был в руках иллюминатов, само существование которых еще вчера отрицал и почитал вымыслом досужей фантазии.

Не обращая на него никакого внимания, ужасные фигуры, нагибаясь друг к другу, обменивались суждениями и излагали в коротких словах свои мнения.

У Бутурлина волосы стали дыбом и на лбу выступил холодный пот, как только он сумел из доносящихся до него слов уловить содержание их речей.

Вопрос шел даже не о его судьбе. Смертный приговор был очевидно установлен заранее. Казавшиеся ему гигантскими, — человеческие существа спорили только о форме казни, долженствующей разорвать его брэнную плоть. Вникая в перипетии дьявольского судоговорения Федор понял, что его обвиняют в разрушении астрального плана и гармонии вселенной, в том, что его дерзновенной рукой пресечены жизненные нити, столетиями сплетенные в гармонию обществом иллюминатов, что разорваны в клочья сотни семейств, что благодаря ему, страны будут потрясены самозванцем, погибнет славное королевство и гидра, его пожавшая, потрясет Европу и сожжет Москву, которая допрежде того будет испытана моровою язвой.

С правого конца стола до него доносились:

„...понеже есть он зловернее Ковеньяка надлежит злодея четвертовать, сжечь

и прах оного развеять из четырех пушек в четыре стороны света“.

„Отрицаю сие, брат Теодорт!“ послышалось слева „ибо зловредная субстанция оного, разнесенная Гипорбореем по миру, отравит народы!“

Спор разгорался. Федор оглянулся кругом, ища путей к бегству и потрясся новым ужасом. Полутемная и пустая совсем зала была лишена окон и дверей, а за его спиной около дымящихся жаровень с бурлящими на них котлами и орудиями пытки стояла полуобнаженная стража и палачи, на потных мускулах которых играли отблески вспыхивающих углей.

Изнемогая от ужаса, Бутурлин упал лицом на пол и заткнул уши, чтобы не слышать старческий фальцет, об'яснявший преимущества колесования над поядением крысами.

Раздался звон председательского колокольчика. Грубые руки подняли Федора и поставили на ноги. Ужасные судьи подписывали приговор.

Не понимая половины из медленно читаемых ему фраз, Бутурлин слушал, что



братство иллюминатов, рассмотрев значение содеянного им во время преступного вторжения в обитель брата Якобия, постановляет—предать дух Сенахериба—Децимия—Анания—Федора анафеме, а тело его в Федоровом воплощении залить живым в бочку с воском и направить через Архангельск в подвалы „Red star“ в Вульвиче, куда и впредь ставить бочки с заволоженными в них телами всех будущих его человеческих воплощений, давая им достигать не выше семнадцатилетней грани жизненного пути.

С минуту Федор бился в исступлении в дюжих руках палачей, потом почувствовал себя втиснутым внутрь бочки, на его плечи, шею, руки потекли, обжигая, струи растопленного воска.

В тот же момент зала наполнилась яростными ударами, шумом голосов и звоном оружия. Восковой поток прекратился.

Гвардеец, майор Хоризоменов, по приказу ее Императорского Величества Государыни Императрицы, выследивши преступное и Богу противное тайное общество иллюминатов, во-время ворвался с наря-

дом преображенцев в залу судилища, помог Бутурлину вылезти из бочки и допрашивал его о случившемся в то время, как дюжие гвардейцы ловили по комнатам разбежавшихся иллюминатов.

Было около 4-х часов утра, когда Федор, в сопровождении охранявшего его гвардейского сержанта подходил к дому своего отца.

## ГЛАВА V.

### Бегство.

Царевна, корабли стоят готовы к бегу  
И только ждут они тебя одной со берегу“.  
*М. Ломоносов.*

Швейцар Афанасий, взволнованный и бледный, отворив Федору дверь, доложил ему, что батюшка ожидали его всю ночь в своем кабинете и просят к себе, не мешкая.

Михайло Бутурлин, старый генерал, служивший еще при Минихе, встретил сына неласково и молча приказал ему сесть в кресло.

Федор только теперь, в тишине отцовского дома, когда отлетели все страшные призраки сегодняшней ночи, понял, что случилось что-то непоправимо недоброе.

Тишина отцовского кабинета, пристальный взгляд старика и его молчание, его

сухие руки, держащие какой-то конверт, показались ему еще значительней, еще ужасней, чем все события безумной ночи.

Старик, видимо, взволнованный и потрясенный, хотел ему что-то сказать, но закашлялся и молча протянул через стол сложенную вчетверо бумагу.

Буквы прыгали в глазах Федора, казались ему то бубновой девяткой, то пятеркой треф и только с большим напряжением воли он мог разглядеть написанное и в ужасе остолбенел.

Градоправитель Москвы, сам князь Петр Михайлович Волконский, писал его отцу, что по неисповедимому стечению обязан он завтрашним утром взять под стражу графа Федора Бутурлина по подозрению в убиении будочника на Таганской площади. Но, памятуя многолетнюю свою боевую дружбу с графом Михаилом Алексеевичем допрежде того его предупреждает, чтобы снарядил он сына к поспешному бегству, чего ради приложены по дорожные, подписанные задним числом. Саму же записку осторожности для просит сжечь.

Старый граф ни слова не прибавил сыну и прощаясь с ним надолго, может-быть навсегда, почел нужным передать ему пакет, из содержания которого Федор, когда будет в безопасности, сможет узнать семейную тайну, доселе от него скрываемую и, сняв с груди медальон с портретом его матери и локоном ее волос, надел его на шею сына, благословил и отпустил подкрепиться пред от'ездом.

Когда Федор, согнувшись под бременем тяжести навалившихся на него событий, уходил из кабинета, он видел в мерцании свеч, как слезы беззвучно катились по восковым щекам старика, а за окнами дома в порывах возобновившейся бури ему чудился смех Брюсова голоса.

Матреша, черноглазая горничная девка, освещала свечей Федору его путь по коридорам большого дома еще петровской стройки. Кровь молотком стучала в его висках, а в глазах, перемешиваясь с несущимися по воздуху картами Брюсова пасьянса, вставали ужасные видения безумной ночи.

Он чувствовал, как дрожали его локти и с тоской необычайной впитывал в по-

следний раз уютную теплоту отчего дома, который должен был покинуть, как изгнанник, на долгие годы, может-быть, навсегда.

У него с тоской сжалось сердце, когда он прошел мимо старого дивана, на котором он еще так недавно впервые поцеловал руку Марфиньке Гагариной, посмотрел на домодельные занавеси у окон и с болью необычайной почувствовал, как дорога ему здесь каждая вещь, каждое пятнышко, даже пуговицы на ночной кофточке Матрешини...

Он посмотрел на ее толстые косы, спускавшиеся до пояса, на ее мерно под'емлющуюся под кофточкой грудь и будто в первый раз увидел ее... Удивился, что, живучи годы под одною кровлею, не замечал он ранее, как красивы ее глаза и густо покрасневшие под его взглядом шея и уши... Внезапно почувствовал, что эта девушка стала для него бесконечно близкой и нужной. Когда она отворила дверь его спальни, поставила на ночном столике свечу и хотела с поклоном уйти, он удержал ее за руку.

Она не сопротивлялась, только покраснела еще больше и наклонила голову.

Не сопротивлялась она и тогда, когда он поднял ее на руки и с бьющимся сердцем понес к кровати, покрывая поцелуями ее шею и обнажившуюся из-под кофточки грудь...

Уже светало, когда огромная Бутурлинская дорожная карета, проехав Дорогомилово, выбралась на Смоленскую дорогу.









## ГЛАВА I.

### Странствование.

Ты был открыт в могиле пыльной  
Любви глашатай вековой  
И снова пыли ты могильной  
Завещен будешь, перстень мой.

*Д. Веневитинов.*

Уже более года молодой Бутурлин колесил по Европе и все еще не мог понять и свести концы с концами события роковой ночи, разломившей надвое его жизнь.

Он был в Англии, где по дороге от Гарвича в Лондон ехал со словоохотливым итальянцем в Портшезе и был едва не ограблен конными ворами под самыми предместьями столицы.

В Лондоне бродил по кондитерским со славным Ричардсоном, видел битву петухов, ученого гуся и знаменитых кулачных бойцов—Жаксона и Рейна ирландца.

В Ковенгардене его не столько поразила игра мисс Сидонс, сколько искусная перемена декораций, а посещая итальянскую оперу, как вспоминал он впоследствии, должен был он по обычаю облечься в длинные, белые чулки и трехугольную шляпу.

Под'езжая к Парижу, Бутурлин был охвачен радостным трепетом и нервно перечитывал описания диковинной жизни Нинон Ланкло, мечтая совершить паломничество на улицу Капуцинов, где жила прелестница. Однако, когда его карета миновала ворота св. Дениса и углубилась в извиляющуюся как ящерица между трактирами, булочными и мастерскими улицу, полную криков и оживления—Федор понял, что действительность превзошла все его ожидания и на несколько месяцев потонул в круговороте величайшего из городов и сделался завсегдатаем кофеен Пале-Рояля посетителем первых представлений и покровителем искусств.

В конце лета, наскучив бесцельным содержанием диковинной заграничной жизни и легкими победами над случайными со-

седками по гостинице и артистками, Федор решил провести целый вечер в полном одиночестве, у себя дома. Когда стемнело и зажгли свечи, он вынул из дорожного сундука отцовский пакет, забытый в вихре неизведанных наслаждений и разложив на столе его содержимое, стал его рассматривать. С замиранием сердца Федор взял письмо, написанное дрожащей рукой старого Бутурлина, и прочел потрясшее его повествование о том, как его отец 45 лет тому назад, услышав в окрестностях Фонтенебло крики и выстрелы, прорвался сквозь кусты на поляну, и увидел там разграбленную карету, убитую даму и корзину с маленькой девочкой, ставшей впоследствии Федоровой матерью и прославленной красавицей Бутурлиной. В руках убитой найден был кусок бумаги, крепко зажатый между окоченевшими пальцами, но ни он, ни другие найденные вещи не могли объяснить, кто была покойная и зачем попала она в кусты около парка великого Франциска.

Помимо судебного протокола, о найденной в окрестностях Фонтенебло убитой

женщины, списка, бывших при ней вещей, старинной узорчатой золотой цепи и поблекших лент, нашел он пергаментный конверт и в нем кусок плотной бумаги, покрытой с одной стороны оттиском деревянной гравюры и печати. Это и был, очевидно, кусок страницы, вырванной из книги и найденный сжатым в руке его бабушки.

Перевернув его на другую сторону, Федор заметил на краю разрыва несколько букв, представляющих собою остатки четырех строк, написанных когда-то по-латыни.

Жгучее любопытство узнать тайну своего происхождения захватило с этой минуты Бутурлина безраздельно.

Ученый иезуит, аббат Флори, сказал ему, что страница принадлежит редчайшей немецкой книге „Ars moriendi“, печатанной в середине XV века и что для открытия тайны необходимо найти ту самую книгу, из которой она была вырвана.

Книгу же всего вероятнее найти в монастырских или университетских библиотеках Германии, так как во всех трех экземплярах этого издания, известных абба-

ту по библиотекам эскуриала в Испании, монастыря доминиканцев в Реймсе и королевской библиотеки в Париже все страницы были в целости.

На Германию же указывало и несколько северо-готическое очертание букв в оставшихся следах подписи.

Федор был охвачен новыми идеями со всей страстностью варвара, попавшего в Рим и в тот же день бросив недочитанным забавное приключение Теострики и Лиобраза и забыв о свидании, назначенном ему мамзелью Фражеля, выехал через ворота Св. Мартина из Парижа и начал посещать библиотеки монастырей, дворцов и университетов, сопровождаемый аббатом Флори и своим крепостным Афанасием, приставленным к нему старым Бутурлиным не то для услуг, не то для наблюдения.

Совершенно иной мир открылся Бутурлину.

Перебирая страницы инкунабул, любясь причудливыми гравюрами „Танца смерти“ и событиями мировой хроники, изображенными искусным резцом Волгемута, Фе-

дор вдыхал в себя вместе с запахом старых книг отстой вековой мудрости и как-то по иному понимал мир и по иному смотрел на окружавших его студентов, библиотекарей, доцентов и клириков, сочетавших теоретические споры с веселыми попойками в винных погребах Нюрнберга и рейнских городов.

В библиотеке монастыря Св. Урсулы в окрестностях Ротенбурга Бутурлин встретился с Мадленой Фаго, молодой француженкой, которая сосредоточенно искала что-то в старых магических книгах и темных манускриптах кабалистов, зачитывалась творениями Агриппы и нахмурился брови, силилась понять запутанные формулы Николая Фломеля.

Однако, молодость брала свое и после дня, проведенного над страницами старых книг, пожелтевших и пахнувших тленом, молодые люди, обычно, в сопровождении двух сыновей баварского графа Регенбурга, изучавшие надписи могильных плит на кладбищах юга Германии, — отправлялись гулять по горам и полям, окружавшим тихую обитель аббата Флори.

Аббат Флори с неудовольствием начал наблюдать, что Бутурлин начинает заглядывать в глаза Мадлен и на локоны ее золотистых волос более, чем на страницы инкунабул, а молодой Регенсбург все реже и реже сопутствовал своему брату в путешествиях по окрестным кладбищам и явно предпочитал рассмотрению заросших мохом могильных плитпомощь Мадлене в ее поисках древних сказаний о морских женщинах-нимфах.

Дружба молодых людей, диковинно возникшая в старой библиотеке, все более и более приобретала любовный аромат, а несомненная ревность предвещала серьезность начавшегося романа, как вдруг непредвиденный случай прервал цепь его логического развития.

Мадлена, сдерживая свое волнение под взглядом неотступно сопровождавшей ее сестры кармелитки, следила, как ее молодые друзья соперничали в срисовывании пентакля Ариэля из книги Гермеса Кападокийского, как вдруг двери монастырской читальни распахнулись и старший Регенсбург вбежал в комнату со словами: „Рупрехт! Я нашел могилу Мардария!“



## ГЛАВА II.

### Гробокопатели.

„О натура! Неужели же  
подлинно человек рождается  
злее всех хищных зверей!“

*Н. Макаров.*

Мадлен осторожно затворила балконную дверь, опираясь на руку Рупрехта и, наступив на склоненную спину Бутурлина, соскочила на землю, радуясь как школьница, своему бегству.

В харчевне „Трех Королей“ старший Регенсбург поведал спутникам свою тайну и рассказал, что более ста лет тому назад, когда имперские солдаты Тилли грабили протестантские замки Баварии и Пфалца, семья Регенсбургов решила бежать в Голландию и разделившись на маленькие группы стала пробираться из

Пфальца на Кельн и Ахен. Половина всего состояния семьи, все ее фамильные бриллианты и другие драгоценные камни доверены были старому дворецкому Мардарию, верному, многократно испытанному слуге, который переодевшись купцом, стал пробираться на Кобленц. Однако в самом начале своего путешествия был ограблен имперскими мародерами и убит. Драгоценности попали в руки солдат и были поделены ими между собою.

Среди похищенных драгоценностей находились девять несравненных ни с чем по величине и блеску алмазов некогда украшавших корону Иерусалимских королей. спасенную одним из предков Регенсбургов при разгроме Радоса.

В течение столетия то в Париже, то в Амстердаме, то у торговцев Лондона в ювелирной продаже появлялись отдельные камни, украшавшие историческую корону. С невероятными затратами различные поколения Регенсбургов скупили все 8 появившихся в продаже камней и вставили на старые места в железную корону и только последний девятый камень, самый

большой, неуступающий по блеску благородному Санси, ни разу не увидел света ни в ломбардах, ни на прилавках ювелиров Европы. Он был настолько несомненен в своей драгоценности, настолько ярок в своем блеске, что просто затеряться он не мог.

Пятьдесят лет назад в корону Иерусалимских королей был вставлен восьмой алмаз, купленный у старого Суавиуса в Амстердаме и с тех пор на ювелирном рынке не попадалось более никакого намека на бриллианты иерусалимской короны. Все поиски были брошены за очевидной бесполезностью еще при деде Франца, как звали старшего Регенсбурга, и только теперь молодое поколение возобновило их с новой силой.

Разбирая старые документы и проследившая шаг за шагом все путешествие Мардария и картину его убийства, молодые Регенсбурги вскоре пришли к твердому убеждению, что верный слуга, видя беспечность сопротивления своим грабителям, успел проглотить драгоценный камень и унес его с собою в могилу.

Два года Рупрехт и Франц искали могилу верного доверенного, уверенные, что

в ней они найдут утерянный камень и только сегодня Франц, остолбенев от восторга и страха увидел плиту с начертанными на ней именем Мордария и датой не составляющей сомнения в том, кто под ней был похоронен.

Свет от фонаря ложился на стволы кладбищенских деревьев, подкупленный сторож нес заступы и веревку с ведром; Бутурлин, сопровождаемый Регенсбургами, вел под руку Мадлен, которая заметно дрожала от волнения и ночной сырости.

Тяжелая плита была отодвинута в сторону и железные заступы, скрепя, вонзались в могильную землю, отбрасывая сырую почву. Работали лихорадочно, сменяя друг друга, ища до рассвета покончить преступное дело.

Через полчаса заступ Рупрехта ударился о стенку гроба и пробив ветхое дерево, провалился в пустоту. Стали сгребать землю руками. Федор чувствовал, как дрожали в страхе его колени, когда в колеблющемся круге фонарного света вырисовались очертания гроба.

Сняли крышку гроба и Франц нетерпеливой рукой сдернул полуистлевший саван

В мерцающем свете фонаря среди желтых костей скелета из под оскалившихся ребер в глаза гробокопателей блеснули голубые лучи бриллианта герцога Бульнского.

В тот же момент Бутурлин почувствовал, что какие то тени перебегают между деревьев кладбища. Ударом ноги он разбил фонарь и, схватив на руки и без того бывшую в полуобморочном состоянии Мадлену, одним прыжком отскочил от могилы, над которой с факелами и дрекольем выросла толпа поселян, предводительствуемая священником и трактирщиком „Трех Королей“, очевидно выследившим своих подозрительных гостей.

Свалив ударом ноги в живот какого-то парня, бросившегося его догонять, Бутурлин, прижимая к груди драгоценную ношу, добежал до кладбищенской стены, взобравшись на которую увидел прямо под собою белую жандармскую лошадь.

Спрыгнув с забора прямо на трактирного служку, держащего лошадь под узцы и свалив его ударом кулака, Бутурлин перебросил через седло безжизненное тело Мадлены и бешеным галопом поскакал в Моржейму.

## ГЛАВА III.

### Дань Афродите.

„Они бегут, храпят их  
кони“.

*А. Пушкин.*

После часа безумной скачки без дорог, сквозь кусты, через какие то канавы и заборы Федор понял, что сумел оторваться от преследования и храп рыжей лошади, скакавшей за его спиной уже перестал давить его сознание.

Погоня явно потеряла след.

Покружившись по каким то хмельникам, Бутурлин, прижимая к груди трепещущую от ужаса спутницу, выехал на дороту и коротким галопом погнал взмыленного и задыхающегося белого коня. Однако, не прошло и десяти минут, как лошадь остановилась, задрожала, опустилась на перед-

ние ноги и едва беглецы успели соскочить на землю, как она в судоргах упала на спину.

Федор оглянулся кругом и заметил на ближайшем перекрестке силуэт какого то дома.

Толстый вестфалец, содержатель постоялого двора под вывеской „Короля Артура“ сообщил беглецам, что лошадей может дать только утром и отвел им для ночлега огромную комнату с дубовым Аугсбургской работы шкапом и старинной кроватью под пологом.

Бутурлин посадил свою спутницу, вздрагивающую при каждом шорохе, в большое кресло и опустился на ковер около ее ног. Старался успокоить ее веселыми рассказами из своей жизни, которые приходили ему на ум, в волнении вспоминая теплоту ее тела, так близко и трепетно прижавшегося к нему во время их бегства.

Толстая свеча, нагорая, теплилась на столе и отбрасывала черные колеблющиеся тени собеседников на стены, обитые старым штофом. Ветер качал ветви деревьев, стуча ими в занавешенные окна... было жутко и невыразимо сладостно.

Федор несвязано рассказывал свои московские приключения, сбиваясь и путаясь весь охваченный очарованием своей спутницы, следя линии ее плеча и угадывая очертание груди под тонким полотном рубашки.

Девушка, забравшаяся с ногами на кресло, прижималась к его высокой спинке и слушала, ничего не понимая в словах, Федора, биение его сердца.

Шли минуты и Федору казалось, что весь мир тонет в отстоях любовных отрав.

Вдруг Мадлена лукаво улыбнулась и как бы неосторожным движением уронила на пол свечу, которая погасла и шипя покатилась по ковру.

Молодые люди бросились ее поднимать, их руки встретились и Федор почувствовал, как в его губы впились влажные губы его спутницы, а ее грудь прижалась к его плечу... Через мгновение он разорвал последние крючки ее платья и в опьянении страсти покрывал поцелуями ее обнаженное, жаждущее тело. Федору казалось, что горячее тело Мадлены течет под его руками огненными струями элексира



финикийской Истар и он был поражен любовной опытностью воспитанницы монастыря серых кармелиток.

Изобретая все новые и новые ласки, он коснулся рукою бедра своей подруги и весь содрогнулся... вскрикнул... под его пальцами скользнула холодная рыба чешуя.

Мадлен, очнувшись от безумия страсти, вырвалась из его объятий и, забившись в глубь кровати, зарыдала.

Бутурлин провел рукою по лбу, покрытому холодным потом и весь ужас безумной московской ночи вновь раскрылся пред ним. В глазах запрыгали брусовы карты, эмблемы адского судилища. Потребовалось все напряжение воли, чтобы вновь придти в себя.

Федор нагнулся к рыдающей девушке и начал гладить ее волосы, а она доверчиво прижалась к его груди.

Уже светало, когда Мадлена окончила рассказывать необычайную историю своей жизни.

Бутурлин, с широко открытыми от ужаса глазами, слушал ее рассказ о том, как

два года назад Мадлена и ее подруга Жервеза де-Буатраси плавали у берегов Алжира на стопушечном фрегате, которым командовал ее отец, старый адмирал Фаго и как они выловили из моря уродливую рыбу с почти человеческой старческой головой, как старый боцман и другие матросы умоляли бросить чудище назад и как обоим девушкам в припадке безумного увлечения захотелось угостить им адмирала, любителя изысканных рыбьих блюд.

Чудовищная рыба со стоном билась в их руках, когда старый корабельный повар счищал с нее чешую, летевшую во все стороны.

Жервеза порезала себе руку, а Мадлена два раза была осыпана чешуйками, попавшими ей за корсаж.

Зато было весело и адмирал остался доволен.

Ночью Мадлена никак не могла отскоблить приставшую к ее коже на бедре рыбью чешую, а порез Жервезы вздулся и вся она посинела настолько, что адмиралу пришлось зайти в Кадикс и оставить девушек на излечение в монастыре святой

Агаты и одному отправиться в дальнейшее плавание.

Через два дня пришло известие, что фрегат разбитый штормом, погиб где-то у Мароканского берега.

Чешуйки на бедре Мадлены не только не отскочили, но как ногти вросли в тело и начали размножаясь, расползаться дальше и дальше. Жервеза почувствовала, что все ее посиневшие ноги покрылись слизью, из под которой стала нарастать рыба чешуя.

Для Федора перестало быть тайной, кто была встреченная им московская наяды, когда Мадлен, описывая тщетные усилия докторов и католических епископов, сообщила, что в конце концов на семейном совете было решено спрятать их подальше от Парижа. Мадлену сослали в город Лимож в монастырь серых кармелиток, а Жервеза уехала на несколько месяцев куда то на восток, к мужу своей тетки английскому дипломату.

„Где же она сейчас! Где Жервеза!“ воскликнул Федор, у которого от волнения пересохла губы и кружилась голова.

„Она утонула год тому назад, возвращаясь из Копенгагена в Англию. Бросилась в море как только показались белые скалы Дувра“.

„Впрочем“, добавила Мадлена тихо, „видевшие ее гибель матросы говорили, что в волнах она поплыла и даже будто им показалось, что у нее вместо ног был виден рыбий хвост“.

Руки Федора дрожали. Он гладил белокурые пряди волос своей подруги, а в пред-  
рассветном розовом тумане, клубившемся в саду, ему чудились черные косы, когда то виденные им в Лефортовском домике.

## ГЛАВА IV.

### „Элексир трирского архиепископа“.

„И учрежденное врачевных дел начальство  
Полезным признает сие твое лекарство“.

*Б. Рубан.*

Большая черная карета, громяхая по камням крепостного моста, в'езжала в узкие улицы Кельна.

Мадлена, наполовину высунув свое преисполненное счастьем и радостью лицо из-за занавесей кареты, смотрела на стройную фигуру Бутурлина, ехавшего рядом с экипажем и рассказывавшего ей о строителях собора и адском литейщике его дверей.

Аббат Флори дремал, откинувшись на спинку сиденья. Старый иезуит нагнал влюбленных в Кобленце и, узнав тайну

Мадлены, убедил ее бросить старые бредни кабалистов о морских женщинах и заняться поисками склянки архиепископа трирского Мелхиседека с остатками той святой воды, при помощи которой трирский угодник исцелил 500 прокаженных и изгнал бесов из 5000 бесноватых, представших ему в праздник святой пятидесятницы в 1074 году.

По словам Флори, один из старых кельнских каноников говаривал ему, что местонахождение священной воды многим известно, но что употреблять ее завещано не иначе, как против несомненного дьявольского навождения.

Казалось, богиня счастья подлинно улыбнулась Бутурлину одной из своих продолжительных и ярких улыбок.

Их месячное путешествие по берегам Рейна, веселые ужины в гостиницах, горы, покрытые буковыми лесами, водопады,— все наполняло их сердца радостью и заставляло сверкать их глаза.

Удача сопутствовала им и в Кельне. Флори разыскал старого причетника, сведущего в церковных преданиях, и узнал от него, что драгоценная склянка покоится

в Аахенском соборе, под медной плитой пустой могилы заживо погребенного в 1473 году и на 8-й день восставшего к жизни игумена Адельберта Турского.

Причт Аахенского собора внял настойчивым доводам Флори и бутурлинским дублонам, и когда после молебствия тяжелая медная доска поддавалась усилиям церковных сторожей, перед собравшимися открылся пустой гроб, наполненный рукописными книгами, старинными потирами и дарохранительницами, среди которых виднелась зеленоватая стеклянная бутылка. На ее дне еще оставалось несколько капель священной воды, благословленной рукой Трирского архиепископа Мелхиседека.

Прикосновения одной капли священной жидкости, сопровождаемого молебствием против дьявольского навождения, было достаточно для того, чтобы адова чешуя потускнела и осыпалась как стружки, с тела Мадлены.

Пока клирики разбирали золотые сосуды, украшенные сапфирами и смарагдами, трое путников поспешили выйти из темноты собора, унося в карманах Флори

священную склянку и древнюю латинскую рукопись, брошенную клириками на пол, в которой, однако, просвещенный иезуит угадывал не открытые еще строки Виргилия.

Чудо Аахенского собора положило грань безмятежному счастью молодых странников.

Мадлена сделалась вдруг серьезной и богобоязненной, обсуждала с Федором полную необходимость вернуться в ее родовой замок к матери и убеждала Бутурлина перейти в католичество, что было совершенно необходимо для их бракосочетания, и на чем уже давно настаивал Флори.

Однако, Федор рассеянно слушал ее речи. Ему показалось, что за ним вновь, как полгода назад в Лондоне, следят на каждом повороте; он замечал отбегавшую тень и не раз видел перед собой в толпе человека с явно наклеенной бородой и притом наклеенной именно так, как делали это, по рассказам, только тайные агенты иллюминатов.

Придя домой, он рассказал об этом Мадлене, вычистил и зарядил свои пистолеты, проткнул, фехтуя, несколько раз



воображаемого противника, но все же отправил в Кельн в своей карете одного Флори, прося его с первой же станции сообщить, если все окажется благополучно.

Весь день просидели в комнате с занавешенными окнами, а вечером прибежал чудом спасшийся фореитор и сообщил, что горный обвал опрокинул бутурлинскую карету вместе с несчастным аббатом с высокого берега вниз, где она и разбилась в щепы.

Не мешкая ни минуты и привязав священную склянку трирского архиепископа к цепочке медальона с портретом матери, Бутурлин воспользовался ночной темнотой и, оставя на столе золотой для расплаты с хозяином, вылез со своей спутницей из занимаемой им комнаты через окно и, наняв где-то в пригородах частную карету, поскакал в ней в направлении Лютиха.

Не успели они от'ехать и 2 мили, как услышали сзади себя топот лошадей и крики погони. Четверка лошадей, увозящих карету, мчалась вся в пене, но, как было видно в заднее окно кареты, группа скакавших за ними вооруженных всадни-

ков не только не отставала, но постепенно приближалась все более и более. О сопротивлении нечего было и думать. Любовники уже готовились к смерти и обнялись в последний раз, как вдруг Мадлене пришла на ум счастливая мысль, и она заставила Федора надеть ее золотое женское платье, захваченное при бегстве с собой, утверждая, что со своими белокурыми волосами и розовым пухом вместо усов, он будет неотличим от герцога де-Труа Верже, блиставшей в то время в Версале.

Едва только была застегнута верхняя пуговица платья, и последние признаки мужского достоинства вместе с пистолетами и шпагой были запрятаны под сиденье, — два гусарских сержанта проскакали сбоку кареты и схватили ее лошадей под уздцы, а офицер, ударом сабли раскроив голову обезумевшему вознице, отпер дверцу экипажа.

Вооруженные всадники с проклятиями и угрозами окружили карету, ожидая отчаянного сопротивления ее седоков.

С тем большим удивлением начальник пограничного отряда, майор Рорбах, вместо

преследуемого им старика-фальшивомонетчика увидел двух очаровательных и на смерть перепуганных девушек и почел своим долгом сам сесть на место убитого возницы и довести юных путешественниц до голландской границы в Ван-Хостене.

Оживленно беседуя с майором о превратностях судьбы и тяжести пограничной службы, они под'ехали к пограничному мосту, забитому вереницей карет, и приготовились к томительному ожиданию, как вдруг чей-то голос назвал Мадлену по имени. Мадлена, всю дорогу дрожащая в страхе, вскрикнула от радости и бросилась на шею подруге своей матери, герцогине де-Перпеньяк, едущей со своим двором в Рейнские поместья.

Герцогиня потребовала, чтобы Мадлена ехала в ее карете. Произошло полное перемещение экипажей, и в карету Бутурлина посадили хорошенькую, высокую брюнетку в розовом платье, грустно смотревшую по сторонам и односложно отвечающую на расспросы Федора, весьма удачно имитировавшего женский голос. Путешествие продолжалось целый день. Ехали не

торопясь, останавливаясь для прогулок и для обеда. Герцогиня не отпускала Мадлену ни на шаг от себя, и Федор не раз замечал, как ревнивый огонь сверкал в глазах его подруги, когда видела она его беседующим с Марион д'Англо, как звали его черноволосую спутницу. Бутурлину эта ревность казалась забавной, и он подогревал ее еще более, пользуясь своим женским положением и позволяя подчас себе весьма свободное обращение со своей дамой.

Ревнивая ярость Мадлены еще усилилась, когда герцогиня, приехав в Лютих, засыпала ее тысячами вопросов и приказала постелить ей постель в своей комнате, а переодетого Бутурлина, вместе с его черноволосой дамой, поместили в мезонине гостиницы, посреди которого стояла огромная двухспальная кровать.

Почувствовав большой трагизм положения, Бутурлин решил положить свою спутницу спать, и как только она заснет, дать тягу, чтобы утром уже в мужском костюме приехать за Мадленой в качестве посланного от ее матери.

Не успел он написать и десяти строк, как почувствовал, что чья-то рука касается его колен и, подняв голову, увидел молодого статного юношу с лицом Марион д'Англо в одной рубашке, склоненного у его ног и шепчущего признания в безумной страсти.

Ударом ноги Федор отбросил наглеца так, что тот кубарем покатился под кровать и уже потом, поняв в чем дело, дико расхохотался.

Через минуту Бутурлин представился виконту Антуану д'Англо, не менее его пораженного превращением голубоглазой блондинки в русского графа.

Антуан рассказал удивленному Бутурлину, что в свите герцогини, всегда путешествующей только в дамском обществе, следуют сейчас трое мужчин, любовницы которых не пожелали отпустить их от себя и приказали, переодевшись в женское платье, присоединиться к кортежу герцогини.

Еще долго молодые люди рассказывали друг другу свои приключения, пока сон не сомкнул их глаз, в то время, как Мадлена слезами ревности орошала подушку в спальне владельницы Перпеньяка.

Утром Бутурлин увидел опухшие от слез глаза своей подруги и, поняв, что быть грозе, постарался ускорить прощание с герцогиней и повернул свою карету в направлении Лувена.

Целый час Мадлена молчала и сердито смотрела на него, пока он не расхохотался и не рассказал ей, переодеваясь в мужской костюм, перепетии своего ночного романа.

Она долго не верила, топала ногами и неизвестно, чем бы кончилась эта первая семейная сцена, если бы они, проезжая по ярмарочной площади Тирлимона, не увидели большой балаган с изображенной на его вывеске женщиной-рыбой.

Одна и та же мысль блеснула в сознании обоих, и они на ходу выскочили из кареты.

## Г Л А В А V.

### Женщина-рыба.

„Аминь, аминь, рассыпся!“ В наши дни  
Гораздо менее бесов и привидений.

*Пушкин.*

Жан Тритату, содержатель балагана, расхаживал по высокому помосту и, потрясая колокольцем над головами многочисленной толпы тирлемонских граждан и окрестных поселян, расхваливая чудеса своего предприятия, обещая показать теленка с четырьмя головами, пятнадцать серебрянников из тех тридцати, за которые Иуда продал спасителя, подлинную рукопись послания апостола Павла к коринфянам, пушку, отбитую Агамемноном у троянцев, и, наконец, живую наяду, женщину-рыбу, пойманную антверпенскими рыбаками в день успения святыя богородицы и при-

обретенную не жалея средств для удовольствия тирлемонской публики.

Бутурлин со своею спутницей довольно грубо протолкались сквозь толпу, и одни из первых вошли в балаган, бросив золотой оторопевшему хозяину.

Пробежав глазами горы всякой чепухи, они остановились около огромной кадлушки, в которой лежала, изнемогая, женщина-рыба.

Сомнений не могло быть, перед ними в мутной зеленоватой морской воде лежала преобразенная в полуживотное, попрежнему прекрасная, Жервеза.

Мадлена, вся в слезах, перепрыгнула через канат, ограждающий феномен от публики, и заключила подругу в объятия.

На глупом лице женщины-рыбы ничего не выразилось, кроме страха, а Жан Тритату, оповещенный своими окружающими о том, что крадут его главное чудо, с огромной палкой бросился на Мадлену.

Бутурлин сбил его с ног ударом кулака, но через минуту был вынужден обнажить шпагу, отбиваясь от дреколья напавшей на него челяди Тритату.



Отбивая правой рукой удары, он снял левой с цепочки медальона склянку архи-мандрита трирского Мелхиседека и опорожнил ее содержимое на несчастную женщину-рыбу. Раздался страшный треск, и густые фиолетовые пары наполнили собою балаган. Нимфа, снова став женщиной, узнала Мадлену и бросилась с криком радости в ее объятия.

— Дьявал! Дьявол!—кричал Жан Тритату, и его прислужники, отступая при виде совершенного чуда и крикнув на помощь ярмарочную толпу, снова устремились в атаку на дерзких посетителей.

Однако, Бутурлин успел окропить священной водой вокруг себя и двух рыдающих, от неожиданного счастья, женщин, и красные прыгающие языки пламени встали перед оторопевшей от ужаса толпой.

— Дьявол! Дьявол!—кричал, взвизгивая, Жан Тритату.

Бутурлин вскочил на высокий жернов, которым некогда Яков молот чечевицу для похлебки своему брату Исааку и, подняв в руке священный сосуд архиепископа

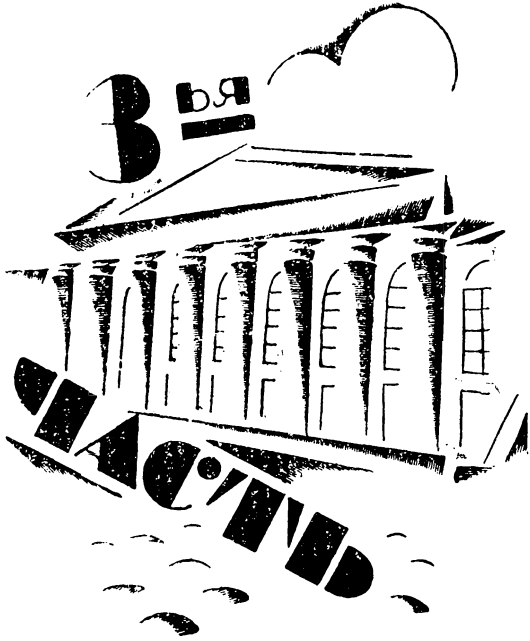
трирского, объяснил толпе, что он не дьявол, что действует святой водой во славу господа бога, разрушая козни дьявольские, рассказал все как было и указал в заключение, что если кого и следует считать порождением дьявола, то исключительно Жана Тритату, мучающего в плену души человеческие и не даром обладающего серебрянными Иуды-предателя. В подтверждение своих слов он тут же исцелил окроплением глухонемую старуху, страдавшую падучей болезнью и передал опустевший сосуд благочестивого Мелхиседека прибежавшему на шум настоятелю собора, вполне подтвердившему его слова.

Ярость толпы обратилась на балаганщика, все предприятие которого мигом было разнесено в щепы, а сам он еле спасся поспешным бегством.

Пользуясь всеобщей суматохой, Федор втокнул обеих девушек в карету, и квадрига рослых коней в несколько мгновений вынесла их из города, где почему-то уже стали бить в набат.

К вечеру они были в Брюсселе, и Мадлена, придя в себя от радости первой встречи, к удивлению своему заметила, что Федор не обращает на нее никакого внимания.







## Г Л А В А I.

### Ипохондрия.

„Печаль моя полна тобой  
тобой, одной тобой...“

*А. Пушкин.*

С грустной и в то же время радостной болью увидел Бутурлин, как открылась перед ним с Поклонной горы первопрестольная столица наша.

С досадой ожидал он конца допросов, которые стражники учинили Афанасию, остановив карету у Дорогомиловской заставы и с какой-то затаенной робкой надеждой взглянул на свою спутницу, когда лошади тронулись и застучали подковами по настилке Москворецкого моста.

После утомительного долгого путешествия, Федор доставил Жервезу к под-

езду Лефортовского дома ее дяди, английского советника в Москве.

Молодая девушка простилась с ним холодно, почти не глядя на него, и даже не пригласила зайти с нею в дом. Бутурлин низко поклонился ей вслед, долго стоял в оцепенении посреди улицы, держа шляпу в руке. . Наконец, опомнился и велел Афанасию ехать домой.

С той минуты, когда Мадлена в иступлении ревности швырнула в него канделябром и пыталась, бросившись на Жервезу, выцарапать ей глаза и когда пришлось бросить ее связанной и с заткнутым ртом в комнате брюссельской гостиницы, Бутурлин был в каком то полузабытьи и все его существо казалось растворенным в излучаемых Жервезой тайных чарах.

Едучи к себе на Знаменку по колдобинам московских мостовых, он пытался отдать себе отчет в своих чувствах к этой холодной, сохранившей что-то от своего рыбьего бытия женщине... Он не мог назвать это чувство любовью, но в то же время ощущал отчетливо, что она для него единственна и без нее ему не быть.

Толпа, не ожидавшей его приезда, челяди в боязливом безмолвии встретила молодого барина.

Старый граф не дождался сына и год назад отдал богу душу, сестра еще при его жизни была просватана за молодого Репнина и, выйдя замуж, выделилась и уехала в Северную Пальмиру. Домом правила старая ключница Агафья, Матрешина тетка.

Федор молча вышел из кареты и прошел сквозь пустые, холодные комнаты, с мебелью под чехлами и паутиной по углам.

Дворовые с поспешностью открывали ставни, но свет, проникая сквозь мутные стекла окон, не мог разогнать могильного сумрака и сырости брошенного и, казалось, умершего дома.

Дойдя до круглой столовой, Бутурлин бросил плащ и шляпу на диван и, сев к столу, опустил на руки отяжелевшую голову.

Было холодно, сыро и глухо, глухо. Только изредка из отдаленных комнат доносился по временам гул голосов, очевидно дворня допрашивала Афанасия о подробностях его странствований.



Прошел час, быть-может, и больше.

Скрипнула дверь, и в комнату вошла Матреша в новом сарафане, вся зардевшаяся, несла в руках графинчики с водками и холодный пирог.

Федор посмотрел на нее тупым незамечающим взором и махнул рукой, чтобы уходила.

Девушка поставила поднос на круглый стол, постояла в нерешительности и вдруг убежала со слезами на глазах. А Федор продолжал сидеть в молчании, глядя в одну точку.

На другой день Бутурлин проснулся очень поздно, приказал никого не принимать и начал устраивать свое жилище по новому.

Он приказал дворне не показываться ему на глаза, отдавал приказания короткими записками, положенными на столе в столовой. Выписал из-за границы сотни книг и эстампов, читал запоем то Вольтера, то творения отцов церкви, не замечая никого и ничего кругом, спал и бодрствовал, не считаясь с солнцем, и вел настоль-

ко уединенный и непонятный для других образ жизни, что москвичи поговаривали об опеке.

В таком забытии прошло несколько месяцев. Федор пресытился книжной мудростью и блуждающим взглядом обводил полки своей библиотеки, — ни одна книга не тянула его более к себе.

Не бритый и с воспаленными от бессонных ночей глазами, он бесцельно бродил по пустынным комнатам старого дома, то смотря в глубины запыленных зеркал, то часами просиживая на старом петровском диване, где когда-то, очень давно, он осмелился поцеловать кончик пальца Марфиньке Гагариной... Он вспомнил ее гроденоплевое платье и сурово сдвинувшиеся брови, но не находил в себе сил разузнать что-нибудь об ней или о Жервезе, которая недвижным ледяным сном сковывала попрежнему его жизнь.

Он оживлялся только тогда, когда заграничная почта привозила ему пакеты, плотно увязанные и запечатанные зеленой печатью.

Частые вначале, они стали поступать все реже и реже. Распечатывая их и раскрывая новый экземпляр *Ars moriendi*, присланный ему одним из многочисленных его агентов, он неизменно находил на своем месте и в полной сохранности 39-ю страницу трактата, мельчайшие очертания букв и рисунки которой он знал в совершенстве.

С тоской необычайной, омрачавшей в эти минуты его лицо, он ставил новый томик к двум десяткам других, полученных им ранее и, опустившись в кресло, часами снова смотрел перед собою.

Афанасий и Агафья, неустанно смотрящие за барином в замочную скважину, замечали, что Федор все чаще и чаще раскрывал медальон с портретом матери и часами плакал над ним и, качая головами, долго совещались и решали, что „пожалуй, пора“.

В один из таких вечеров, когда Бутурлин посмотрел перед отходом ко сну на себя в зеркало, с ужасом увидел седые волосы на своих висках, услышал, что сзади него скрипнула дверь...

Он обернулся и увидел у притолки Матрешу в одной рубашке со свечью в руках. Она стояла в нерешительности, вся зардевшись от смущения, рубашка скатилась с ее округлого белого плеча, и чья-то старческая рука ее подталкивала сзади.

## Г Л А В А П.

### Московская прелеста.

„Выложи на блюдо рагу из петушьих гребней и почек, а на оное положи пулярду“.

*Поваренная книга.*

Бутурлин чувствовал, как он плывет по течению.

Он стал ходить в халате, перестал бриться и стротил себе бороду.

Матреша ходила по дому барыней.

Окна бутурлинского дома засверкали чисто вымытыми стеклами, весной разбили цветники, — а на кухне дым стоял коромыслом и весело поднимался пар от готовящихся блюд.

Федору даже стало казаться, что он очень любит гуся с брусникой.

И хотя он попрежнему никого не принимал и не показывался в московских гостиных,—Москва, узнав о переменах в старом бутурлинском доме, нашла, что все пришло в порядок, и молодой Бутурлин был зачислен не на последнее место среди московских женихов.

Федор сознавал всю глубину своего падения, но с каким-то непонятным упорством и в оцепенении духа все еще ждал записки от Жервезы, все еще надеялся на нее.

Афанасий и Агафья научили Матрешу уговорить его отстроить заново бутурлинскую подмосковную „Песты“ и он, не выходя из своего полузабытья и не начиная, несмотря на охи своей прелесты, к перестройке дома, предался сооружению оранжерей и садов, мечтая превзойти „Горенки“ своими теплицами и перешибить Прокопия Демидова роскошью своих флорариумов.

В „Пестах“ землемеры ходили с астролябией и измеряли будущие „амфитеатральные террасы“, герр Клете, паркового и фейерверкского дела мастер, выписанный из Карлсруэ, опохмелялся каждое утро

старыми графскими наливками, которыми подчевала его Агафья, а Афанасий с угнетением и трепетом душевным советовался со стряпчими о закладных на рязанские деревни.

Все казалось пришло в некое равновесие, однако, каким-то внутренним чутьем Федор чувствовал приближение нового удара, долженствующего развеять карточный домик его жизни, и удар этот действительно не замедлил разразиться.

В одно сентябрьское утро он почувствовал, что Матрешино плечо ушло из-под его головы и, проснувшись, увидел ее закутанную в одеяло и смотрящую через окно на двор, наполненный звоном колокольцев и фырканием лошадей.

Федор еще не успел сообразить, что бы это могло быть, как услышал на дворе бойкую французскую речь. Через минуту он уже не мог сомневаться, что к нему приехала Мадлена.

Накинув халат, он стремительно бросился в свой кабинет и заперся там на два поворота ключа, с тревогой прислушиваясь

к разыгрывающемуся домашнему переполоху.

Он слышал возгласы дворовых, иступленные вопли Агафьи, визг Матрешы и наконец раздраженный голос Мадлены, прикаивающей ему отворить двери кабинета.

Однако, у него хватило пассивной решимости не откликнуться на этот зов и целый день просидеть взаперти, чувствуя, как постепенно Мадлена овладевает его домом и как по Москве, судя по разговорам прохожих под его окнами ползут слухи, что *madame Boutourline est venue*.

Сначала Федор надеялся на чудо, почему-то верил, что именно теперь ему принесут письмо от Жервезы, но к вечеру, когда стемнело, он понял, что исхода нет.

Вынул из своей дорожной шкатулки пистолет, зарядил его дрожащими руками и, поцеловав в последний раз портрет матери, взводя курок, приставил дуло к виску, опустил, подержал дуло во рту и в тот момент, когда предсмертная нерешительность овладела им, пред его сознанием



открылась новая возможность, и он принял отчаянное решение.

С трудом необычайным выбрался незамеченным из дома и направился в Лефортово попытать счастья у графа Якова Вилимовича Брюса.

## Г Л А В А Ш.

### В Лефортове.

„Доколь, драконов сея зубы,  
ты будешь новых змей рождать“.

*Державин.*

Внезапно выбившись из сил и обегавший все Лефортово, Бутурлин остановился и почувствовал, что стоит перед нужным ему домом.

Высокие окна огромного фасада были освещены совсем как три года назад в достопамятную для него сентябрьскую ночь

Бутурлин взбежал по мокрым каменным ступеням и начал стучать в тяжелую дубовую дверь брусова дома.

Внезапно его руки провалились в пустоту и створка двери широко распахнулась

перед ним, с глухим стоном и как-будто без помощи человеческих рук.

Федор содрогнулся, но, поборов в себе минутную нерешительность, вошел во внутрь дома.

Комнаты были пусты и темны. Сквозь их призрачную анфиладу как-то преувеличенно ярко сверкали щели внизу под дверью графского кабинета, а когда Бутурлин приблизился, незримый порыв ветра распахнул ее настеж, чуть не ударив Федора створками.

Ослепленный потоками яркого света, Федор увидел графа Якова Вилимовича.

За огромным, покрытым зеленым сукном столом, ярко освещенным двумя мерцающими двенадцати-свечными канделябрами и заваленным десятками карточных колод, старик, как и три года назад, сидел в мундире петровских времен, увешанный звездами и орденами, с зеленым зонтиком на глазах, защищающим старческое зрение от нестерпимо яркого мигания свеч.

„Не осуди старика, голубчик Федор Михайлович, за плохой прием... отпустил я сегодня своих покойников на Ваганьково в мо-

гилках отдохнуть... Легко ли мертвому человеку здесь денно и нощно кости свои гнуть...“

Как сквозь сон слышались откуда-то издали слова Брюсова голоса и сейчас же под самым правым его ухом, совсем близко, тот же голос продолжал.

„Ну, как тебе, почтеннейший, нравится твой новый пасьянсик?! Постарался я для тебя, милейший, постарался!“

И старческий хохот, переходящий в кашель, потряс все закоулки молчаливого дома.

Брюс тыкал своим безгранично удлинвшимся пальцем в разложенные по столу карты и Федору не было большого труда узнать в их сплетении весь ужас только что пережитых событий своей жизни и новые еще неизведанные им грядущие ненастья.

Червонные десятки, перемешанные с пиковыми шестерками и девятками, перекрывали собой вереницу дам красных и пиковой мастей и как бахромой кончалось несколькими пиковыми тузами, с давящей силой обращенных вниз своим острием.

Не узнавая своего голоса, бессвязно начал Бутурлин умолять своего страшного

собеседника сжалиться над ним, разрушить круг заклатья и отдать ему Жервезу.

Старик хохотал, откинувшись на спинку кресла и тыкал пальцем в даму бубен, окруженную со всех сторон трефовыми фигурами.

Кашель и хохот обжигали сознание Бутурлина, какие-то красные пятна поплыли пред его глазами и он в исступлении рассудка перегнулся через стол и хотел перемешать дьявольские смешения терзающих его душу карт.

Но карты, несмотря на все его усилия, на этот раз не сдвинулись со своих мест и лежали недвижно, как нарисованные на поверхности стола. Федорова же рука прилипла к бубновой девятке и сразу онемела.

Дикий хохот потрясал собою весь дом.

Вне себя от ярости, Бутурлин со всего размаха ударил свободной рукой захлебывающуюся от смеха старческую физиономию и его кулак разбился в кровь, будто ударил он не по человеческому лицу, а по чугунному пушечному ядру.

В тот же миг прямо перед своим носом увидел он трясущиеся костлявые пальцы графа Брюса.

Федор отскочил от стола, но старческая рука вытянулась беспредельно и пыталась поймать его за нос.

Прижавшись к противоположной стене, Бутурлин забился в угол, опустил на колени и закрыл свое лицо руками. Но все было тщетно. Протянувшись через всю комнату, страшные руки схватили его за шею, скользнули могильным холодом по его подбородку и, впившись костлявыми, твердыми как железо, пальцами в его нос, повлекли его к столу.

„Это тебе не Матрешкины об'ятия, ваше сиятельство!“ зазвенело в ушах Бутурлина.

Через полчаса измученный, поруганный Бутурлин, которому казалось, что он стоит на краю безумия, купил свою свободу и год любви Жервезы ценою добровольной уступки Брюсу обрывка страницы *Ars moriendi*, найденной в руках его умершей матери, при чем Брюс наотрез отказался сообщить ему значение этой страницы и каждый раз как он упорствовал, нагибал его голову к каменному полу и бил его виском о камень до потери сознания.

Дрожащими руками Федор вынул из ладанки драгоценный кусок бумаги и передал его Брюсу.

Генерал аншеф освободил от своих пальцев его полураздавленный и онемевший нос и взял из выдвинутого ящика стола старую книгу в переплете свиной кожи.

Федору не стоило труда узнать в ней знакомую внешность *Ars moriendi* и он увидел наконец давножданную им наполовину разорванную 39 страницу трактата с латинскими письменами на ней.

Брюс приложил недостающий кусок с довольным видом и напряженным вниманием прочел получившуюся подпись и, подняв глаза на Бутурлина, захлопнул книгу.

В тот же миг и книга и сам Брюс разлетелись, как фейерверочный бурак, тысячами игральных карт во все стороны, охвативших Федора со всех сторон.

А когда карточный вихрь рассеялся, Бутурлин увидел себя стоящим посреди Ехалова моста, что в Лефортове.

## Г Л А В А IV.

### **Брюсовы пасьянсы.**

„Некто в один день, проиграв в банк все свое имение, напоследок отыгрался на шестерку“.

*Н. Страхов.*

Ночная холодная пустота московских улиц постепенно овладевала сознанием Бутурлина.

Он долго шел, машинально передвигая ноги, не думая, не замечая ничего, кроме звука своих шагов и только у Красных ворот остановился, дрожа с ног до головы, чувствуя, как ночная сырость проникает в его душу.

Казалось, впервые понял все происшедшее, и жуткая тревога наполнила все его существо.



Был готов бежать снова к Брюсову дому и требовать назад отданную страницу.

На миг забыл даже о Жервезе и событиях своей жизни. Потом вспомнил, и все, только что бывшее, показалось ему сном.

Не пошел даже, а побежал к себе на Знаменку, чтобы убедиться в реальности происходящего.

Ужасная значительность ночной Москвы потрясала его. Каждый встречный казался ему мертвецом, пробирающимся с Ваганькова в услужение к Якову Брюсу, ему казалось даже, что вместо глаз видит он провалы черепа и ольшит под плащом лязг костей.

Он содрагался, встречая в темноте бешенно несущуюся карету, внезапно выбрасываемую ночным туманом и вновь поглощаемую им.

Как вор влез он через окно в буфетную своего собственного дома и стал пробираться к себе в кабинет, боясь, чтобы не скрипнула половица и не подняла бы на ноги дворню. Осторожно открыл дверь и остолбенел: на его письменном столе стояла бутылка шампанского, отражающая мерцающий свет восковых свечей, а на

диванс он увидел Мадлену, радостно взволнованную, с поднятыми бровями, совсем такую, какую любил он некогда в городе Аахене... У ее ног, припав поцелуем к ее руке, заметил он младшего Регенсбурга, неизвестно, как и почему попавшего в Бутурлинский дом.

Федор дико расхохотался и, с шумом захлопнув дверь, бросился к выходу.

Он даже не удивился, когда, пробегая по коридору, он услышал немецкие любовные сентенции фон Клете, прерываемые жеманными охами Матрешы.

Почти на рассвете он добежал до памятного ему сада господина Джона Гамильтона, английского советника в Москве. Не успел он перепрыгнуть через каменную ограду, как с балкона ему навстречу метнулась женская тень.

Федор не удивился этой встрече и в тот же миг забыл и Брюсовы карты и Тирлемонские события и ему казалось, что он никогда и не жил до этой минуты.

Жервеза и Бутурлин долго гуляли, преисполненные радостью в предрассветном московском тумане.

Солнечный восход застал их у Спаса Андроньева монастыря. Смотря на озаренную утренними лучами Москву, раскрывшуюся им в туманной дымке по излучине реки, чувствуя прижавшуюся к нему Жервезу, Федор всем существом своим приветствовал зарю новой жизни, и, вздохнув полной грудью утренний воздух, торжественно протянул свою руку к восходящему светилу.....и в тот же миг солнце померкло в его глазах. Он вспомнил, что Брюс согласился переместить карты своего пасьянса только на один год.

## Г Л А В А V.

### Катастрофа.

„Настал ужасный день и солнце на восходе“.

*М. Ломоносов.*

Жервеза в православии приняла имя Глафиры, а венчавший молодых Бутурлиных батюшка отец Афанасий от Семена Столпника сделался ее духовником и глубоко вошел в жизнь бутурлинского домика, что на Знаменке.

Старый дом стал неузнаваем: вместе со сваленными на чердак елизаветинскими диванами и доmodellными коврами исчезла его степенная серьезность и мрачная пустота.

Молодая хозяйка разорвала цепи затворничества, и толпа нескончаемых маскарадов и балов, колеблющаяся в мерцании воско-

вых свечей, наполнила собою комнаты, в которых еще так недавно граф Михайло Бутурлин, сидя в старом своем генерал-аншефском мундире на просиженном Роберквисте, принимал от приказчиков своих волостей, согласно реестрам, зерно и кожи, и обсуждал размеры оброков рязанских деревень.

Под сводами, помнившими трагические события царствования второго Петра, спорили до одурения о талантах Сандуновой и Ожегина, и о новых замыслах Медокса, пели куплеты из „Кусковского перевозчика“, обсуждали прогулки и фейерверки и восторгались талантом Бомарше.

Федор стремился быть корифеем в радостном круговороте лиц и происшествий, окружавших его жену, и только, когда последняя карета увозила от его под'езда запоздалых гостей, и Жервеза, едва успев раздеться, засыпала мертвым счастливым сном, он пробирался в свой кабинет и смотря на переплеты тридцати томов *Arg moriandi* часами просиживал недвижно в ночной тишине, томительно, безысходно думая о путях своей жизни.

Мысль, омрачившая первое утро его новой жизни, постепенно отравляла душу и подтачивала его бытие.

Он знал, что есть сроки пламенному счастью их жизни, и с каждым часом близится какой-то удар, неизвестный, но тем более ужасный, но и эти драгоценные, убегающие в Лету часы были отравлены для него сознанием их картошного происхождения.

Когда Жервеза, с ногами забравшись к нему на колени, разглаживала пальцами морщины его лба и бурно выражала свое удивление тому, как могла она раньше его не любить, перед глазами Федора выросла дама бубен, положенная перед ним на зеленое сукно костлявыми Брюсовыми пальцами, и ему хотелось плакать от досады и внутренней пустоты.

Бутурлин только сейчас понял, что продав наследие матери за год краденного счастья, он обрек себя сам на утонченную пытку.

С течением времени он стал набожным, и месяца за два до рокового срока открылся во всем отцу Алексею.

Меж тем московская жизнь кипела вокруг него в незамедляемом беге своем. Улыбаясь друзьям и недругам раз навсегда сложенной маской своего лица, Федор внимал безучастно рассказам о том, как Кирилл Разумовский в шлафроке и ночном колпаке принимал Потемкина, об успехах „Синава и Трувора“ и шопоту о княжне Таракановой, спасенной из рук Орлова и заточенной в тиши московского монастыря.

Восковая маска его лица спадала только тогда, когда перед киотом образов беседовал он с отцем Алексеем о едином для него значительным, наполнявшем его душу, трепетом.

Тщедушный иерей ожесточался, и листая страницы четьи миней, повествовал о кознях сатанинских, искушавших землю, и о подвиге духовном их уничтожения.

Федор отчетливо помнил и Спасов лик, озаренный лампадой и низкую, пропахшую елеем, комнату священника, в которой принял он свое решение.

Помнил и ту минуту, как отец Алексей окропил святой водой лезвие топора и с

горящими глазами передал сей „молот духовный“ в его руки.

На этот раз Бутурлин не стал стучать у под'езда Брюсовского дома, а выдавил осторожно стекло в одной из темных комнат и внезапно вошел в кабинет Якова Вилимовича из внутренних апартаментов.

Старик согнулся над столом и с испуганным выражением лица рассматривал карты разложенного пасьянса. Федор видел, как он грозил кому-то кулаком и резким движением перекладывал то одну, то другую карту с места на место.

Ужас охватил Бутурлина, ибо он понимал, что под этими костлявыми пальцами сейчас ломаются человеческие жизни, гибнут надежды, зарождаются преступления.

Старик, хихикая, продолжал свое адское занятие и был так увлечен им, что не слышал даже, как Федор подошел к нему почти вплотную и обернулся только тогда, когда Бутурлин стоял рядом с ним.

Федор видел, как из-под зеленого зонтика на него в ужасе метнулся серый свинцовый взгляд, и в то же мгновение ударил старика обухом освященного топора по голове.



Послышался треск, похожий на звук лопнувшего бычачьего пузыря и Бутурлин в ужасе отступил, роняя топор.

На его глазах старик лопнул, и рассыпался, как рассыпается старый дождевой гриб, клубом пыли заполнив комнату.

Совершив содеянное, Федор долго стоял в оцепенении, и только несколько мгновений спустя поборол охвативший его ужас и стал смотреть разложенные по столу карты, покрывшиеся хлопьями Брюсова праха, ища глазами и желая убедиться, что его бубновая дама лежит так, как была положена год назад и что ничья рука не оторвала ее от Федоровой карты.

Среди пестрых узоров причудливых карточных сплетений он нашел, наконец, кусок адова пасьянса, управлявшего его жизнью и вдруг заметил, что карты стали коробиться и тлеть... Среди разбросанных карт зардели огненные пятна, и струйки дыма стали подниматься с разных сторон стола.

И в тот же миг услышал он за окном первые тревожные звуки набата.

Оглянулся, и сквозь черные ветви Брюсова сада увидел зарево начинающегося пожара.

Забыв о картах, пустился бежать, и пока бежал, набатные звуки росли и диким ревом меди, вздымались вместе с клубами огненного дыма. Толпы людей выбегали из домов и крестясь бежали к пожарищу, охватившему Белый город.

Когда Федор добежал до места, огонь охватил всю Знаменку, уже перебрался на Воздвиженку и грозил Кисловским переулком. Бутурлин остановился, и ноги его подкосились—старый бутурлинский дом горел как костер.

## Г Л А В А VI.

### Э п и л о г.

„Среди стен его погребено мое счастье, жизнь моей жизни“.

*Н. Страхов.*

Целую ночь и весь день Бутурлин ходил по пожарищу. От своих соседей узнал, что его старый дом загорелся первым, сразу в разных местах, каким-то особенным красным пламенем и несмотря на то, что все окна и двери его были открыты, никто не вышел из пылающего дома, как будто бы и самый дом не был обитаем.

С опаленными бровями и лицом, рас-трескавшимся от жара, Федор пробирался среди еще не остывших головешек, тщетно ища найти останки Жервезы.

Толпы москвичей стояли в молчании поодаль и никто не решался подойти к потрясенному до пределов вдовцу, стоящему на пепелище своего дома.

Бутурлин стоял недвижно что-то соображая, стремясь что-то уловить своим помутневшим сознанием.

Внезапно почувствовал, что его левая рука сжимает толстый том *Ars moriendi*, похищенный им из Брюсова дома и автоматически носимого целые сутки. Федор взял его в обе руки, раскрыл на роковой странице, но сколько не силился, не мог понять даже слов, написанных на ней дрожащим латинским почерком.

Захлопнул книгу и бросил ее в груды тлеющих бревен.

Старинный пергаментный переплет начал тлеть и страницы нюрнбергских печатников долго коробились не загораясь, потом вспыхнули каким-то зеленоватым пламенем.

Федор безумными глазами смотрел, как огонь поглощал страницу за страницей

книгу, пока чья-то рука не опустилась на его плечо: князь Михайло Андреевич Голицын вывел его из пожарища.



## ОГЛАВЛЕНИЕ.

### Ч А С Т Ь I.

	СТР.
ГЛАВА I. Начало . . . . .	9
„ II. Граф Яков Вилимович Брюс.. . . .	14
„ III. В порывах ветра . . . . .	20
„ IV. Иллюминаты. . . . .	25
„ V. Бегство . . . . .	32

### Ч А С Т Ь II.

ГЛАВА I. Странствование . . . . .	39
„ II. Гробокопатели . . . . .	46
„ III. Дань Афродите . . . . .	51
„ IV. Эликсир трирского архиепископа . .	58
„ V. Женщина — рыба . . . . .	68

## Ч А С Т Ь III.

ГЛАВА I. Ипохондрия . . . . .	75
„ II. Московская прелеста . . . . .	82
„ III. В Лефортове . . . . .	87
„ IV. Брюсовы пасьянсы . . . . .	93
„ V. Катастрофа . . . . .	97
„ VI. Эпилог . . . . .	104

---

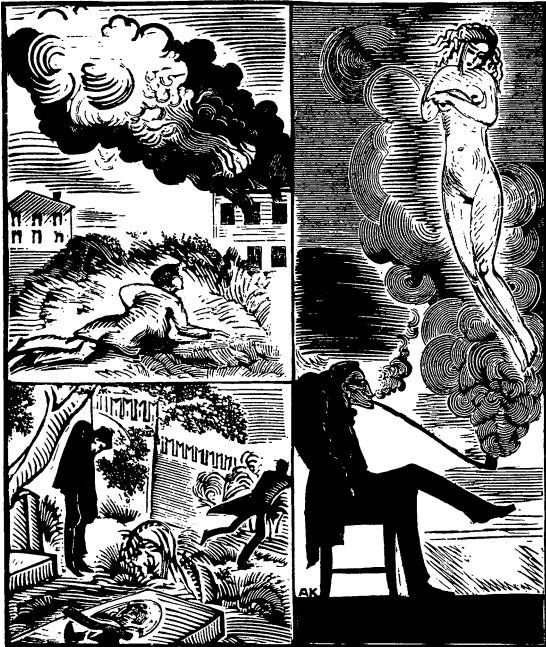
Издание автора.

Отпечатано в марте 1924 г. в 5-й типо-  
литографии „Мосполиграф“, Мыльников  
пер., 14. Набирали текст: Соломенцев,  
Буслаев, Козлов, Быков. Метранпажи:  
Морозов, Бухаров. Печатали: Муханов,  
Винокуров. Брошюровали: Никитин.  
Клише изготовлены в 1-й Артели фото-  
цинкографов в Москве.





Ю Л И Я  
И Л И  
ВСТРЕЧИ ПОД НОВОДЕВИЧЕМ  
РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ,  
НАПИСАННАЯ МОСКОВСКИМ  
БОТАНИКОМ X  
И ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ  
АЛЕКСЕЕМ КРАВЧЕНКО  
МОСКВА  
ИЗДАНИЕ АВТОРА  
МСМХХVIII



Ю Л И Я  
И Л И  
ВСТРЕЧИ ПОД НОВОДЕВИЧЕМ

•  
РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ,  
НАПИСАННАЯ МОСКОВСКИМ БОТАНИКОМ Х  
и ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ А. КРАВЧЕНКО

МОСКВА

ИЗДАНИЕ АВТОРА

1928

Главлит № А 11226. Зак. № 1619. Тираж 300

---

Типография „КНИГОСОЮЗ“, Москва, Петровка, 17.

О л ь г е —  
— спутнице дней моих  
посвящаю эту книгу.



12 апреля 1827 года.

Бесспорно господин Менго должен почитаться одним из чудес современного мира!.. С тех пор, как он появился на поприще бильярда, все законы Эвклида и Архимеда рассеялись, как дым.

Ударенный шар вместо абриколе бежит по кривой; шар, на вид едва тронутый, касается борта, отлетает от него с неожиданной силой и делает круазе от трех бортов в угол.

И только представить себе, что разгадкой сему необычайному волшебству — всего на всего незначительный кусочек кожи, прикрепленный к кончику кия, усовершенствованного господином Менго.

Отныне для совершенного игрока нет более невозможной билии. Одухотворенные шары...

Впрочем, я должен рассказать все по порядку...

Как только стало известно, что господин Менго или, как он пишется по-французски — Mingaud уже приехал из Варшавы и остановился в номерах Шевалдышева, все почитатели его таланта собрались



в бильярдных залах Купеческого собрания... Наш ментор и ценитель Роман Алексеевич Бакастов, маркер сего почтенного клуба и достойный приемник непобедимого Фриппона, уверял в возбуждении, что французу против Протыкина не вытянуть. Молодежь, наскучивши ожиданием, сбилась в углу диванной, где конногвардеец Левашев, только что вернувшийся из Санктпетербурга, утверждал превосходство Велбреховой над московскими артистками, чем заставлял багроветь шею майора Абубаева...

А сам герой дня, мой приятель Протыкин, красный от волнения делал шар за шаром, разминая мастерскую руку.

Менго заставил себя ждать изрядно. Когда терпенье наше было на исходе, он появился в сопровождении старшин и в напыщенных словах, любезных до приторности, сообщил, что за дорожной усталостью играть сегодня не в состоянии и просит разрешения быть на сегодняшний вечер простым наблюдателем московской игры, знаменитой на его родине еще с 1813 года и *si presieux, si delicieux*.

Ропот возмущения был ему ответом.

Несколько горячих голов столь же мало учтивых, как и мало взрослых требовали, чтобы маэстро, столь осторожный в отношении своей славы, просто без игры показал хотя бы один из своих столь прославленных ударов.

Надо думать, что я, разгоряченный долгим ожиданием, выделялся своим чрезмерным волнением среди негодующей толпы, потому что господин Менго именно ко мне обратился, прося меня сделать ему одолжение и разбить первым шаром белевшую на бильярдной зелени пирамиду, заботливо поставленную Бакастовым.

Вся кровь прилила у меня к голове и дрожали руки от неожиданности той роли, которая была на меня возложена. Пятнадцать шаров двоились в моих глазах. И хотя я и хотел из любезности расшибить пирамиду вдребезги — рука дрогнула, едва не вышел у меня кикс. Желтый ударился в правый угол и отбил только три шара.

„Parfaitement!“ сказал Менго, взял кий и разом все стихло кругом.

Мне было досадно за свою неловкость и я к тому же почему-то обозлился на наглый тон француза. Однако, вместе с другими впился глазами в кончик его кия.

В гробовой тишине послышался сильный, четкий и необычайно низкий удар. Шар стремительно рванулся вперед и... пролетел мимо подставленного мною на простой дублет седьмого номера.

Цицианов даже свистнул от неожиданности. Еще момент и казалось менговский биток пойдет писать гусара. Как вдруг, промазавший биток, не доходя двух четвертей до борта, сам по себе останавливается посеред поля, стремительно возвращается назад, четко берет от борта крепко приклеенный шар, делает контр-ку, посылает пятый номер в лузу, а сам вдребезги разносит недобитую мною пирамиду.

Рев восхищения был наградой гению бильярда.

Менго, побледневший от напряжения, как будто бы даже не заметил что был столь необычно аплодирован и продолжал делать билию за билией, делая невозможное — возможным, трудное —

игрушкой и каждым ударом, посылая ко всем чертам все законы математики.

На наших глазах он кладет под ряд 15 шаров и в изнеможении падает на кресло.

Мы неистовствуем, а когда успокаиваемся, то ищем свою надежду, своего героя, своего игрока Протыкина, но не находим его.

Его не оказывается также и в соседних залах.

Смущенный Бакастов рассказывает, что после первой же билии француза Протыкин сломал в досаде на-двое свой кий и выпрыгнул в окно.

Бросились искать и ободрить его. Обшарили все московские улицы и подходящие места, но тщетно.

Бывают же такие люди, такие колоссы, как Менго!

13 апреля 1827 года.

Спешу записать странное событие сегодняшней ночи. Вернувшись домой из Купеческого собрания, я был в страшном волнении, сон бежал от меня и я писал при догорающих свечах свой дневник, покуда они не погасли.

В голове раздавалось щелканье шаров и стоило мне закрыть глаза, как проклятые эти менговские шары начинали бегать передо мной.

Проснулся я на рассвете от страшного стука в окно. На фоне красной полосы занимавшейся зари, сквозь запотелые стекла виден был человек, который, наклонившись к окошку, неистово стучал кулаком по раме.

Я вскочил и подбежал к окну.

Это был — Протыкин.

„Ну, брат, и история!“ Сказал он, влезая в отворенное мною окно.

„Мадера у тебя есть?“

Всклооченный, с подбитым глазом, с воспаленными от бессонной ночи зрачками, он забился в угол дивана и, выпуская клубы дыма, начал описывать свои похождения.

Из его бессвязных и отрывочных фраз можно было понять, что, придя в отчаяние от первой же билии Менго и предчувствуя полный разгром своей бильярдной славы, Протыкин сломал в отчаянии свой кий, выскочил с подоконника, на котором он стоял, наблюдая игру Менго, в тишину клубного сада и в горести решил выпить, как стелька.

Однако, в первом же кабаке его взяла такая грусть, что неудержимо потянуло к цыганкам и он начал искать не поет ли где Стешка. Однако, рок преследовал его и на путях искусства... Степанида с дочерью уехали петь в Свиблово к Кожевникову и увезли с собою чуть ли не все московские таборы. Осталась одна надежда на последнее убежище всех допившихся до белых слонов гусаров — Маньку-пистон, которая, как рассказывали у нас, года два назад своей разухабистой песней „Разлюбил так наплевать, у меня в запасе пять“ произвела землетрясение на Ваганькове, так как все похороненные там гусары не выдержали и пустились в пляс в своих полусгнивших гробах.

Манька жила где-то в Садовниках. Протыкин уже прошел через Устинский мост и приближался к старому комиссариату, как вдруг остановился потрясенный.

У самого берега Москва-реки в круге тусклого света уличного фонаря стояла девушка.

Несмотря на холодную ночную пору, она была в одном платье с открытыми плечами и руками.

В мигающем на ветру свете фонаря Протыкин успел разглядеть только огромные глаза, пепельно-серые волосы, взбитые в несколько старомодную прическу, и сверкающее ожерелье.

Было непостижимо, что она могла делать здесь, в такой час, одна и в таком костюме.

Мгновение они стояли друг перед другом в молчании... Затем девушка протянула ему руку.

Протыкин почувствовал холодное прикосновение тонких пальцев к своей руке и в тот же миг сильный удар по лицу сбил его с ног вниз в Москва-реку и в воздухе зазвенела отвратительная ругань...

Когда Протыкин взобрался наверх на набережную, девушки не было и где-то далеко между фонарями бежала, сгорбившись, человеческая фигура...

13 апреля, вечером.

День вышел незадачный. Едва успел уйти взволнованный Протыкин и я наскоро записал его ночноехождение, как на двор со звоном влетела вся покрытая грязью данковская воронья тройка и

батюшкин конюший Емельян ввалился ко мне в комнату с батюшкиным письмом в руках.

Письмо наполнило меня грустными воспоминаниями. Батюшка подробно описывал мне гибель гнедого Артаксеркса, который оступился на гололеде и сломал себе ногу... Несчастливого пришлось пристрелить.

Несчастный Артаксеркс! Как приятно бывало, вернувшись весною из душных стен благородного пансиона к данковским пенатам, вскочить на твою широкую спину и скакать через старые гумна к Елоховскому пруду на водопой.

Могу ли я когда-нибудь забыть маленькую ножку Наташи Храповицкой, ласкавшую твои крутые бока, о Артаксеркс, в памятную поездку на Яблонку... Увы, увы давно ли это было, а сколько воды утекло с этого памятного дня, и помнит ли теперь графиня Маврос наши детские клятвы. Увы, увы...

Батюшка писал, что для весенних полевых разездов ему необходимо в ближайшие же дни под верх новую лошадь, могущую столь же легко носить его дородную фигуру, как это делал



покойный Артаксеркс. А потому просил купить не медля по сходной цене крепкого жеребца, не ниже трех вершков.

Вместе с Емельяном обрыскали мы сегодня все московские конюшни, побывали у всех знаменитых содержателей англичан и русских.. Видели у Банка Доппля от Ковентри и Тритона, а у Джаксона вывели нам самого Тромпетера от Трумпатера. Не лошадь — огонь, рыжий с флагами, но жидковат для батюшки.

Пришлось побывать и на частных конюшнях у Закревского, Давидова и Панчуладзева. Больше всех понравился мне панчуладзиев жеребец „Замир“. Бурый в масле, большого роста, широкий, ноги плотные, шея лебяжья с врезом, голова небольшая, уши вострые, глаза на выкате и оскал такой, что в ноздрю хоть кулак суй; хвост и грива, хотя и жестковаты, но в остальном не уступят и самому Тромпетеру. Дороговат, да за то для батюшки лучше и не выдумаешь.

Оставил Емельяна торговаться и кинулся в Купеческое собрание любоваться подвигами Менго. Еще по дороге от скачущего во всю прыть на

наемном колибере Тюфякина, нашего первого нувелиста, узнал я о совершенном его триумфе.

Клубские залы были переполнены до невозможности. Среди посетителей мог я отметить не мало и бильярдных игроков Английского клуба.

Менго не только делал все билии, но, играя в черед, всегда офрировал партнеру такие шары, что они либо были накрепко приклеены, либо стояли в труднейшем абриколе.

Когда я протиснулся в бильярдную залу, то француз, не зная чем еще выразить свое превосходство, заявлял с удара два шара и делал их как простые угольники. Преимущество было настолько велико, что игры собственно не было и даже было неинтересно.

Бакастов попробовал было играть в пять шаров на сплошных киксах, но на третьем же шаре бросил игру.

Протыкина не было, но его похождение было уже известно всем и сверх моего ожидания не вызвало большого удивления, так как за последний месяц Корсаков и Ребиндер, хотя и не получали в рыло, но сталкивались с блуждающей дамой.

Юлия

2

Все терялись только в догадках кто она могла быть. Невест, как известно, в Москву из степных деревень привозят одновременно с поросятами — к Рождеству, а по платью и общему теню она не могла быть мещанкой.

Бакастов мрачный и раздосадованный проигрышем, крушением всех своих теорий и в еще большей степени распространившейся сплетней, будто его лучший ученик Протыкин еще по утру поступил в обучение к господину Менго, — чертыхался и объяснял все дьявольскими происками фармазонов.

Сообразно случаю рассказал он нам про те обстоятельства, при которых дал он зарок более не играть в кегли. Рассказ Бакастова вышел столь достопамятным, что я почитаю за должное записать оный в свою тетрадь.

По его словам, еще будучи мальчиком, служил он у Мельхиора Гроти в вокзале при кегельбане на предмет подавания шаров. В те дни в Москве подвизались илюминаты и среди них некий барон Шредер.

Случилось быть проездом через Москву гишпанскому полковнику Клепиканусу, большому любителю кегельной игры. В недобрый час побился

он со Шредером на крупный заклад против его барона Шредера пенковой трубки, что обыграет его в два счета. Начали играть. Клепиканус с первых же четырех шаров разбивает всю девятку.

„Поставил это я заново кегли для барона“, рассказывал, размахивая руками, Бакастов, „а тот поди и шаров то в руки никогда не брал. Первым шаром промазал, вторым — мимо, третьим — тоже не лучше... Ну, думаю, не видать тебе твоей пенковой трубки. Только гляжу это я — барон-то наш, как схватился за голову, да вместо четвертого шара своею собственной бароньей головой по кеглям как таракнет... Только тарарам пошел. Вся девятка в лежку. А из воротничка то у него дым идет. Подбежал это я к кегельбану за кеглями, гляжу, господи боже ты мой, святая владычица трояручица, — вместо кеглей-то человечьи руки, да ноги, а голова-то вовсе не Шредерова, а Клепикануса. Оглянулся. Барон Шредер стоит себе целехонек и пенковую трубку курит, Клепикануса вовсе нет, а гости все от ужаса окарачь ползают“.

Рассказ недурен, только надо думать, что Бакастов заливает.

2\*

22 апреля 1827.

Весь день сегодня опять погубил я на лошадей. Панчудзиев меньше чем за тысячу не отдавал.

Целое утро искал другую лошадь. Даже до цыган доходил. Наконец умолил Петра Григорьевича уступить „Замира“ за восемьсот.

Вечером был на обеде у Долгорукова Юрья Владимировича, прежде бывшего главнокомандующего московского. Хотя многие и говорят, что прежние годы состоял он в фармазонах, тем не менее старик всегда приветлив и мрачности в нем я никогда не замечал.

Обед был на 80 кувертов и я никогда не видывал такого стечения, как сегодня. Мог я отметить Петра Хрисанфовича Обольянинова, нашего предводителя, Александра Александровича Писарева, попечителя московского университета, Степана Степановича Апраксина, нашего мецената и покровителя московской Талии, а в конце обеда под'ехал сам граф Федор Васильевич.

Что бы ни говорили наши зоицы, должен признать, что общение со столь знатными особами возвышает и облагораживает.

Говорил о разном, а больше всего о завтрашнем спектакле „Павильон Армиды“, и Шаховской хвастал, что Гюлен-Сорша должна на этот раз превзойти самое себя, особливо в *pas de deux* с Ришардом младшим.

Протыкинское приключение всех рассмешило изрядно, и острословцы интересовались, какое количество шкаликов довело моего приятеля до замоскворецкой сильфиды; Измаилов даже сочинил экспромт, намекающий, что не только дамы, но и кулака не было, а просто пьяный Протыкин стукнулся лбом о фонарный столб.

Жалко, что не успел я записать эти острые слова.

25 апреля 1827 года.

Я задыхаюсь. Я не могу перевести дух. К чорту Измаилова, к чорту наших скептиков.

Я не брал в рот ни единой капли вина и я видел ее. Это она, бесспорно она — Протыкинская незнакомка!

Было уже близко к полуночи, когда вышел я из Петровского театра, потрясенный воздушными па

Гюлен-Сор, которая была аплодирована как никогда.

Мне не хотелось идти домой и я, желая преобороть свое волнение, пошел бродить по улицам. Была лунная ночь. Редкие облака, гонимые ветром, бежали тенями по московским домикам и заборам.

Не успел я дойти до Каменного моста, как увидел в лунном сиянии медленно идущую девушку. Она была в одном платье с открытыми плечами и руками. В мигающем на ветру свете фонаря я мог разглядеть только огромные глаза пепельно-серые, волосы, взбитые в несколько старомодную прическу, и сверкающее ожерелье.

Я сделал несколько шагов в направлении к ней и тотчас заметил сутулую фигуру, ковылявшую в отдалении. Вспомнив печальный опыт Протыкина, я понял, что всякая попытка приближения кончится для меня дракой и остановился. Между тем девушка заметила меня и также остановилась, протянула мне руки и как бы, призывая на помощь, махала мне платком. Вся кровь прилила у меня к голове, я смерил глазами, уже приблизившегося карлика, угрожающе размахивавшего кулаками, и бросился

между ними. Увернувшись от предназначенного мне удара, я изо всей силы саданул своего противника в перекосившееся от злобы лицо, но кулак мой... пронзил пустоту и я растянулся на мостовой

Карлик захохотал и исчез в темноте, оставив в моих руках драгоценный платок, оброненный незнакомкой. Девушки не было. Пробежав более часа по всем перекресткам — я остановился. Сердце мое билось. Я прижал к груди драгоценный платок и, простояв несколько минут в порывах все более и более крепнувшего ветра, поплелся домой.

Плотно затворил двери и окна своей комнаты. Выкинул всякую чепуху из бабушкиной шкатулки и положил туда данный мне небом залог любви. Забился в уголок дивана и стал курить трубку за трубкой, обдумывая план действий.

Нет мыслей в моей душе, нет дум и только образ, любезнейший, нежнейший образ витает в моем сердце. Смотрят сквозь стены огромные серые глаза, и пряди пепельных волос стелятся по ветру.  
 . . . . .

Ужас наполняет душу мою, ум теряется и голова начинает кружиться... Сейчас, желая посмотреть



при свете восходящего солнца завоеванный трофей, подошел к окну, открыл бабушкину шкатулку и в ужасе содрогнулся. Она была пуста и из ее глубины поднялся какой-то смрад, напомнивший мне по запаху табачный дым английского кнастера. У меня выступил холодный пот и почему-то вспомнился мне рассказ Бакастова о чортовом кегельбане.

Что же мне делать?

8 мая 1827 года.

Более двух недель не раскрывал я своего дневника, да и нечего было писать. Одна досада..

Друзья принимают меня за сумасшедшего, и только Протыкин, приободрившийся после уроков, взятых им у господина Менго и восстановивший свою биллиардную славу, — дружески в знак понимания пожимает мне руку.

Моя охота за незнакомкой тщетна. Я сбил двое ботинок, градя московские улицы... Увы, — без успеха. Я бы давно бросил свои безумства, но клянусь головой Бахуса, что дважды видел ее.

Однажды перед поездкой в Башиловский вокзал я сидел с Ребиндером и Костей Тизенгаузенom

в кондитерской Педотти на Кузнецком и бешенно спорил о преимуществе голоса Синецкой над прославленным голосом петербургской Колосовой... как вдруг остановился на полуслове... На противоположном тротуаре шла моя незнакомка. Я опрокинул стол и бросился к выходу... Улица была пуста.

Другой раз я гнался за нею по Полянке. Она заметила меня, обернулась, протянула ко мне умоляюще обе руки и вдруг пропала.

Странно было только, что пропасть-то ей было некуда. И справа и слева тянулись заборы замоскворецких садов, и сколько я не обшаривал их нигде не было видно никакой калитки.

Смущало меня также и то, что в этот раз она была как бы значительно выше ростом, чем в первые две наши встречи.

Но это была она, бесспорно она. Те же пепельные локоны волос, те же огромные серые глаза, то же сверкающее ожерелье.

Теперь вот уже более недели я не видал ее. С грустью таскаюсь днем по всем московским кабакам и кофейням и к ужасу своему пристрастился к курению табака.

Целые ночи напролет страдаю бессонницей, читаю и немилосердно курю трубку за трубкой.

Начал даже понимать тонкости табачного вкуса. Поначалу забирал я арабские и турецкие табаки у греков на Никольской, все больше у Кордия, но втянувшись нахожу их жидкими. Купив как-то у мадам Демонси английского с медом сваренного кнастера, перешел я к табакам американским и наипаче голландским, которые постоянно и лучшего достоинства в старой Ниренбергской лавке у Пирлинга, состоящей на Ильинке в доме купца Варгина.

Якобсон снабдил меня пенковыми трубками, и я предаюсь отчаянию в голубых струях голландских табачков. Мир отошел от меня, и весьма редко доходят до меня новости, потрясающие Москву; только неделю спустя узнал я о странном исчезновении господина Менго, наделавшим столько хлопот нашему московскому обер-полицмейстеру добрейшему Дмитрию Ивановичу Шульгину, а о том, как Варька с трелью из соколовского хора разбила гитару о голову достойнейшего Степана Степановича, узнал только сегодня. Нахожу жалкие

радости в самих терзаниях и мечтаю о хорошо обкуренном кенигсбергском янтаре, собираюсь даже в воскресенье двинуть на Смоленский... Может найду там у старьевщиков.

12 мая 1927 года.

Опять я в волнении, опять у меня трясутся все поджилки. Я, кажется, нашел путеводную нить... Однако по порядку.

В поисках за обкуренным янтарем пошел я сегодня, как и намеревался, на Смоленский рынок в старый ветошный ряд.

Долго рылся я безо всякого успеха среди всякого железного хлама, обломанных рюмок, синих стеклянных штофов и изъеденных мышами книг, среди которых попалась мне на глаза занятная книженка про египетские обыкновения, называемая „Крато репея“ и изданная покойным Новиковым.

Янтарей не было, и я уже собирался уходить, как увидал на рогоже среди двух сабель, старого патронташа и всякой дряни фарфоровую трубку удивительной расцветки. На синеватом фарфоре хитро переплетались знаки Зодиака и окружали

сверкающий позолотой герб или быть может магический пентакль.

Я поднял ее и начал рассматривать. Ничего подобного не было в моей коллекции.

„Что стоит, хозяин?“, спросил я у восточного человека, сидящего перед рогожей на корточках и распространявшего на полверсты запах чеснока.

„Последняя цена пятнадцать рублей“, заломил он с обычной наглостью.

„Я даю двадцать!“, услышал я голос из-за своей спины.

Обернулся и онемел от внезапной неожиданности. Передо мной стоял мой противник, у которого отбил я в памятный вечер шелковую шаль моей незнакомки.

„Тридцать!“

„Сорок!“

„Пятьдесят!“

„И еще пять!“

„Семьдесят!“, заявил я в азитации.

„Молодой человек“, обратился ко мне карлик. „Будет Вам дурака-то валять. Мне эта трубка

нужна в неперменности, а вам она не к чему. Давайте, если уж Вам так угодно, разыграем ее на орел или решку“.

У меня в кармане было немногим более семидесяти целковых и стоило старику набавить десятку, как я выходил из игры. Поэтому мне ничего не оставалось, как согласиться на сделанное предложение.

„Только, знаете что“, обратился я к старику, который как будто начал меня припоминать, „не зайти ли нам в трактир и не разыграть ли нам пипочку на бильярде“.

Мне казалось, что я смогу не без выгоды использовать Протыкинские уроки.

„Извольте. Почему бы и нет?“ усмехнулся мой собеседник. „Как бы только не пришлось Вам пожалеть впоследствии, молодой человек“.

„Тем лучше для Вас!“ Условимся только, что, ежели мне суждено будет проиграть, Вы не откажитесь рассказать чем собственно замечательна эта трубка и почему Вы ею дорожите“.

„С превеликим удовольствием“. Произнес старик, и мы вошли в бильярдный зал трактира.

В прогорклом от табачного дыма воздухе, на зеленом бильярдном поле выросла перед моими глазами пирамидка шаров, задрожала в какой-то необычайной отчетливости очертания и тотчас же поплыла в тумане... Мой противник с неожиданной для его хилого тела силою первым же ударом раскатал ее и подставил мне шары под астролябию и простые угольники.

Я взял кий, закусил нижнюю губу и, памятуя протыкинские наставления, стал резать подлужные шары почти на киксах. Раз, два, три... пять бильи под ряд клал я шар за шаром и только на шестой попал в коробку и пошел гусаром.

„Недурно, молодой человек, совсем недурно для начала“, промолвил карлик, весь как-то надулся до крайности, бочком подошел к бильярду, прищурил глаз и стукнул по седьмому номеру.

Два раза от борта, круазе и в правую лузу и притом с такой силою и треском, что все посетители вздрогнули и поспешили к нашей игре, и я сразу почувствовал, что погиб.

„Тэкс, молодой человек!“ И снова удар в двойное апроше и два шара в лузу.







„Тэкс!“ и снова чисто сделанный шар.

Кругом стояла стеной восторженная толпа трактирных завсегдатаев, даже толстобрюхий буфетчик, с золотой цепочкой на жилете, и тот вышел из-за стойки и уставился глазами на шары.

„Тэкс, молодой человек!“ и снова удар, какой-то особенный снизу, по-карличьему обыкновению. Билия за билией, шар за шаром и вдруг у меня мурашки забегали по спине. Диковинное движение шаров показалось мне до ужаса знакомым, когда-то совсем недавно виденным, неповторяемым.

Еще момент, диковинный контр-ку в двойной шпандилии и я не мог уже сомневаться, что передо мной в карликовом облике сам, столь таинственно пропавший, господин Менго собственной персоной.

На меня напала мелкая дрожь, и огненные круги завертелись в глазах, когда мой страшный противник под ропот восхищения сделал последний шар и, прищутив глаз, подошел ко мне.

„Так-то, молодой человек! Плакала Ваша трубка. В орлянку-то Вам было бы куда способнее со мной тягаться“.

Трубка была уже в его руках, и он собирался уходить, когда я очнулся от столбняка и задержал его движением руки.

„Послушайте, почтеннейший, трубка бесспорно за Вами, но не забудьте, что по нашему уговору она будет Вашей только после того, как Вы расскажите о ее достоинствах“.

„С превеликим удовольствием, дрожайший мой, с превеликим удовольствием“. Ответил мой страшный собеседник, придвинул стул к моему столу и, прищулив глаз, начал.

„Слышали ли Вы, молодой человек, как в Филях прошлым летом один из курильщиков табака был взят живым на небо?“

На мой отрицательный ответ, старик придвинулся ко мне поближе и рассказал удивительную историю. По его словам, в начале прошлого лета неизвестно откуда приехал в Филя какой-то не то француз, не то немец и снял у Феогностова домик на пригорке по дороге к Мазилу. „Ничего себе, хороший немец, тихий... Только что начали за ним наблюдение иметь; сначала, значит, мальчишки

а потом, когда всякие художества за ним обнаружили и настоящий народ“.

„... настоящий народ“, прозвучало у меня в ушах низким фальцетом, и я чуть ни упал от неожиданности на пол, передо мной на стуле сидел, оживленно продолжая свой рассказ, уже не карла, а буфетчик из-за стойки. Его щеки в волнении рассказа надувались, золотая цепочка на жилете мерно покачивалась, а сзади, опираясь на спинку стула, стоял страшный бильярдщик, курил трубку и молчал.

Я не мог понять, как и когда произошла эта замена. Почему? Каким образом? В висках у меня стучало, а буфетчик, раскачиваясь, продолжал между тем свой рассказ.

„Стали примечать, что любил, значит, он, немец, в ясный безоблачный день, чтобы ему в садике посеред малинника чай собрали и выходил он к чаю в синем халате и с трубкой. Садился это, значит, в кресло, набивал трубку табачищем и начинал из нее разные кольца и финтифлюшки из табачного дыма выдувать. Понатужится это немец и глядишь, из трубки дымище этот самый вылезает, словно

как бы калач, али словно бутылка, али как бусы, а то и не знамо что... Вылезет и кругами ходит, растет, раздувается и вдруг потом прямо в небо облаком уходит и плывет себе, как настоящая божья тучка.

„Посидит, бывало, этот немец за чаем часика два и все небо, сукин сын, испакостит. Все небо от евойных облаков рябью пойдет. А раз пропыхтел это он со своей трубкой целый день и к вечеру из его проклятых туч даже дождь пошел желтый, липкий, как сопля, и табачищем после этого дождя ото всякой лужи за версту несло... Только ему это даром не прошло... Уж очень много он из себя этих облаков-то повывывал, нутро свое израсходывал и в усненском посту, как раз в пятницу, поднялся это, значит, здоровый ветер, да как этого самого немца со стульчика-то сдует, потому в нем веса-то никакого не осталось, да как перышко кверху и потянет. Немец руками и ногами болтышается... Куда тут, подымает его все выше и выше... Народ собрался; хотели в набат ударить, да только отец Василий запретил святыя церковные колокола по такому плохому делу сквернить и высказался,

что „собаке и собачья смерть“. Так, значит, и пропал немец-то в поднебесье“.

„Так вот с, молодой человек“, сказал на этот раз уже мой страшный противник, отрываясь от трубки и пуская клубы дыма, — „эта трубка-то, она самая и есть“.

Я пришел в оцепенение, не зная принимать ли слышанный рассказ за чистую монету или за дьявольское навождение, а карла с хохотом выбежал в дверь.

К счастью, мой столбняк продолжался недолго и я, выскочив на улицу, успел заметить, как старик повернул налево за угол.

Через минуту я подбежал к углу и заметил вдали сгорбленную спину, уходящего вдаль карлика. Я прокрался в тени забора, с бьющимся сердцем выслеживая своего противника, ища найти, хоть какую-то нить, ведущую к прелестной незнакомке.

Перебегая от угла к углу, боясь быть обнаруженным, я не раз, казалось, терял его, то в изогнутых переулках около Плющихи, то идя по набережной по пути к Потылихе. Однако всякий раз

3\*

замечал в отдалении сгорбленную спину и снова устремлялся в преследование.

Мы вышли к пустырям на задах Новодевичья монастыря. Вечерело. Сизая дымка тумана, поднимавшегося с прудиков у монастырских стен, застилала крепостные башни. В воздухе на красном закатном небе кружились с криком гигантские стаи тысяч ворон... мне казалось, что сейчас, именно сейчас произойдет что-то необычайное, страшное, необычайное... Сутуловая фигура старика, пробиравшаяся среди зарослей бурьяна, начала плясать в моих глазах...

Однако, ничего не случилось, и как только вышли на берег против устья Сетуни, старик подошел к небольшой группе домов, остановился, вынул из кармана ключ, отпер дверь и вошел в дом. Через несколько минут в одном из окон второго этажа загорелся свет.

Я подошел почти вплотную к домику и чтобы не привлекать ничего внимания, залег в заросли крапивы, ошпарив изрядно левую руку. Лежал, не спуская глаз с двери и засветившегося окна. Было видно, как человеческая фигура ходила по комнате

и тень ее пробегала по потолку. Потом задернули занавеску.

Сумерки сгущались. Вскоре стало совсем темно. Я лежал в своей крапиве, как заговоренный, не имея сил встать и чего-то ожидая.

Не знаю долго ли пролежал я у таинственного дома, если бы меня не вывел из оцепенения женский голос, раздавшийся совсем рядом со мной.

„Гляди-ка, тетка Арина, у табашника-то свет зажжен“.

„А ну его, плюгавого, к бесу“.

Две бабы, громыхая ведрами, прошли к москов-речью. Я поднялся и пошел домой, обессиленный, взволнованный необычайно.

Теперь сижу и записываю в свою тетрадь события безумного дня и мне кажется, что из темного угла карла смотрит на меня, прищурив один глаз и посасывая свою трубку.

Жутко и сладостно. Завтра чуть свет пойду караулить старика.

13 мая 1827 года.

Краска стыда заливает мои щеки, а я тем не менее ничего не чувствую... Словно какая-то струна



оборвалась в моей груди и ничего нету... Придя вчера за полночь из-под Новодевичьего, весь грязный и измученный, я сел в кресло, твердо решив не раздеваться и ждать рассвета. Однако, записав несколько страниц в своем журнале, не мог преодолеть усталости.

Утром проснулся я от стука в свою дверь и увидел всклокоченную голову Емельяна и около него босоногую девченку с письмом в руках.

Письмо было от Верочки, и я вздрогнул, узнав знакомый лиловый конверт, заклеенный зеленой облаткой... Однако, вместо радости, ощутил скорее некоторую досаду из-за разрушения моих намерений.

Верочка писала, что в даньковскую усадьбу дошли слухи о моем нездоровии, ее обеспокоившие, и она поспешила приехать со своей матушкой в Москву, тем более, что приданое белье все уже перешито, а подвенечное платье решили делать в Москве у мадам Демонси на Кузнецком.

Еще месяц назад напоминание о предстоящей моей свадьбе и приезд невесты наполнил бы меня радостью бесконечной, а теперь...

Я стоял около ее кресла с шапкой в руках, не зная куда деть руки и что ей сказать... В начале она вся покраснела от счастья и щебетала как канарейка, потом ее сверкающий взгляд начал потухать... Она взяла меня за обшлаг рукава и замолчала... Вместо того, чтобы поцеловать как прежде, как всегда, розовые ногти ее руки, я почему-то стал ругать мадам Демонси и настаивать на том, что мужские шинели шьют обычно у Лебура...

...У нее на глазах показались слезы... Она пыталась что-то сказать об усадьбе, отстроенной для ее приданого, но не кончила, расплакалась и убежала. В глубине комнат слышались ее рыдания.. и тотчас зашлепали, приближаясь, чьи-то козьи ботинки... Я не стал ждать появления их обладательницы и, махнув рукой, вышел из дому... Заметил только почему-то в прихожей знакомую Верочкину картонку для шляп и рядом кадучку с медом... почему-то они меня потрясли и сейчас вот вижу их перед глазами, а в душе пустота. Шел как каменный... Как каменный бродил под Новодевичьим, как каменный тщетно лежал у Карлова дома в крапиве и вот

сейчас пишу и ничего не чувствую... хотя ясно мне, что произошло что-то гадкое, непоправимое.

Емельян говорит, что Горелины тотчас же после обеда заложились и уехали назад в Данков.

Но что же я могу сделать, она владеет всеми помыслами и всеми чувствами моей души, она одна... Бедная, бедная Верочка! Особенно жалко мне тебя, когда вспомнил я твою шляпную картонку, всю запыленную и так и оставленную на-верно не раскрытой... Но что же я могу сделать, что?..

5 июня 1827 года.

Я безумствую, я сам чувствую, что начинаю сходить с ума... Судорожно сжимаю руки и хватаю пальцами пустоту. Я уже пять раз видел ее, но чего это мне стоило, к чему это привело...

Родственники мои обеспокоены, держат меня в наблюдении. Сначала зачастил ко мне дядюшка Евграф, пока его зеленая со шнурами венгерская куртка, сизые подусники и висящая на нитке полуоторванная пуговицаверхнего кармана не привели меня в неистовство и я не наговорил ему дерзостей.

Не медля, на моем диване появилась вздыхающая Евпраксия Дмитривна, нестареющая прелестница пудов на восемь весу, та самая, которой мы в детстве так любили на сон грядущий класть под одеяло сливочные тянучки и турецкий рахат-лукум. Затем из облаков московского Олимпа выплыл сам князь Борис... И как бы невзначай, чуть ли не каждый день, стал забегать на две понюшки табаку добрейший Карл Августович, наш медикус и светила.

Не имея, по причине субординации, никакой возможности отделаться от непрошенных гостей, я начал было вояжировать через окно буфетной комнаты к Евсегнеевым на двор и по задам к Сивцеву Вражку, но окончательно сгубил этим делом свою репутацию; был выслежен и Евсегнееву приказано было спустить с цепи Полкана.

Пути отступления сузились и далеко ни каждый день мог я добраться до своей заветной крапивы. Да и лежа в своей крапиве, я был обречен на отчаяние и терзание...

Часто я целыми днями лежал бесцельно, дверь не отворялась, дом, казалось, был пуст и вечером в окнах не зажигалось света.

Иногда неожиданно, часто уже совсем к ночи, запотелые окна освещались, и я мог видеть двигающиеся тени... Чьи? Сердце мое пыталось разгадать это.

Иногда же, и не было тогда пределов моему счастью, дверь отворялась. Сгорбленный карла, без шапки с горящими глазами выходил и останавливался в ожидании и через минуту... как бы не замечая его, выходила она, всегда неожиданная, всегда прелестная... всегда в том же платье со сверкающим ожерельем,

Проходила мимо, совсем близко от моей крапивы, улыбаясь неизвестно кому, и карлик сопутствовал ей в отдалении, перебегая улицы нервной походкой, оборачиваясь, задыхаясь...

Желая разгадать тайну, страшась быть обнаруженным, я выслеживал их с осторожностью необычайной, следуя за их шагами из-за угла и перебегая за ними к новому углу только тогда, когда и девушка, и старик скрывались за поворотом.

Так шли мы из улицы в улицу. И чем ближе мы приближались к центру, тем труднее становилась моя погоня, и я с трепетом всматривался

в прохожих, боясь встретить знакомых и поразить их своею стремительностью.

Однажды, когда я перебежал через Знаменку, чья-то рука крепко схватила меня за плечо. Я обернулся, чтобы оттолкнуть нападавшего, и увидел самого князя Бориса, побагровевшего от ярости и шипящего сквозь зубы свои французские проклятия.

Но что все это было по сравнению с тем, что я видел в своем преследовании, что повергало меня в ужас, чего не мог постичь мой мозг.

Мои преследования, если я их доводил до конца, всегда оканчивались одним и тем же.

Когда подбегал я к последнему повороту, я всегда видел спину остановившегося в замешательстве карла и ничего больше... Незнакомка исчезала без следа. Она не могла войти в какой-либо дом, потому что ее исчезновение совершалось в разных частях Москвы. И что всего удивительней — исчезновение это было, очевидно, неожиданно для самого ее охранителя.

Старик обычно останавливался, как вкопанный, стоял некоторое время, потом горбился еще более,

и с хмурым видом поворачивал назад.. а я бежал, чтобы не попасться ему на дороге. Забирался в какой-нибудь кабак и в ужасе восторга и отчаяния забывался в винных парах, ища в опьянении удержать в своем взоре тонкую линию шеи и пряди волос, стелющиеся по ветру...

13 июня 1827 года

Я не могу больше... Мозг мой немеет... В глазах все застилается дымкой... Я должен раскрыть эту тайну или должен погибнуть, потому что я дошел уже до черты.

Сегодня часов в пять мне удалось в первый раз за всю неделю победить бдительность моих сторожей и, стравив приставленного ко мне кузена Кондаурова в пикет с добрейшим Карлом Августовичем, я прямо без обиняков выбежал через парадное крыльцо на улицу, вскочил на проезжавший наемный колибер и бил несчастного Ваньку по шее до тех пор, пока всякая опасность погони исчезла.

Передо мною стояла новая задача... Я решил проследить, что делает старик после того, как девушка исчезает.

Мне повезло. Не успел я вылезти из своего овражка в крапиву, как в одиноком доме заскрипели ступени, открылась дверь и склоненный старик пропустил Юлию, я был сегодня уверен, что ее зовут именно так.

Я последовал за ними, на этот раз по направлению к Плющихе, мы вышли к Москва-реке, шли по Садовой, шли по Кречетникам и за углом у Спаса около Коковинского дома девушка исчезла.

Старик, как обычно, постоял некоторое время на месте и потом с опущенной головой поплелся назад. Я спрятался за церковным крыльцом и, когда он проходил мимо, слышал, как вздыхал он со стоном и скрипел зубами... Скоро я понял в своем преследовании, что направлялся он прямо домой и, действительно, вскоре он отпер большим ключом дверь одинокого домика и через минуту в окне затеплился свет и забегали тени... Я залег в крапиву, не имея сил уйти, очарованный движением мигающих теней.. Через полчаса свет внезапно погас... заскрипели ступеньки, карла вышел на улицу и (мозг мой теряется, руки вновь



начинают дрожать) в открытую дверь вновь показалась мне незнакомка. Вновь засверкало ее ожерелье, вновь улыбалась она кому-то, проходя мимо моего логовища.

Я следовал за ними недолго, в Ростовских переулках она пропала, а через час в лунном свете осенней ночи она вновь в третий раз вышла из одинокого домика у Девичья монастыря на берег Москва-реки... Я не имел сил следовать за дявольской четой и, потрясая кулаками и призывая небо в свидетели, всю ночь пробегал по московским улицам, пока не наткнулся на Кондаурова, также всю ночь бегавшего по Москве в поисках за мною.

14 июля 1827 года.

Я рассказал им все... Я не мог больше скрывать. Мы варили пунш. Послали за Протыкиным, и я дрожа от волнения, увлажняя горячей влагой пересыхающее горло, день за днем, шаг за шагом, рассказывал им свои терзания, а Протыкин клялся в том, что каждое слово мое — святая истина.

Карл Августович поминутно хлопал себя по коленам и восклицал „Ach! Mein Gott!“ А Кондауров,

дымя конногвардейской трубкой, ходил из угла в угол так, что трещали половицы, и чертыхался, как два эскадрона на плохом постое.

К утру они поклялись выручить меня и если нужно силой раскрыть дьявольское навождение... Светает... Тушу свечу и хоть немножко засну перед решительными событиями...

16 июля 1827 года.

На сколько моя память могла сохранить стремительность событий, все произошло так... Должно быть так... Протыкии и Ванька Кондауров выскочили из своей засады, прямо на карла. Юлия даже не обернулась на поднявшийся крик и как санамбула, неизвестно кому улыбаясь, продолжала свой путь.

В два прыжка я был около нее... Дрожь охватила все мое тело и какой-то дьявольский трепет наполнил душу... Она была прекрасна, как никогда, сверкающее ожерелье поднималось на мерно дышащей груди, и линии тела сквозили сквозь складки легкого платья... Я сорвал с головы свой цилиндр и бросил его далеко прочь. Шел почти рядом с ней и все кругом исполнялось биением

моего сердца... Сначала молчал, потом начал говорить что-то бессвязно, прерывно Она заметила меня, наклонила голову и улыбалась.

Мы вышли к стене Новодевичьего, туда, где аллеи лип спускаются к прудам... Какие-то птицы кружились между ветвей... Я взял ее за руку холодную, как лед... Она остановилась, посмотрела на меня влажным, не видящим взором, улыбнулась и протянула ко мне свои руки.

Не помня себя, я схватил ее в свои объятия и губами коснулся ее холодных губ.

В тот же миг, как бы в порыве ветра, ее волосы взвились куда-то; глаз, бывший перед моим глазом, куда то дернулся в сторону, мои руки упали в пустоту, упал бы наверное и я, если бы чья-то рука не схватила меня за воротник.

Когда я очнулся, передо мной стоял батюшка и тряс меня за шиворот... А сзади Емельян еле сдерживал взмыленного „Замира“.

А теперь, вот уже второй день, я сижу на ключе... Батюшка гневается... Трясущийся от страха, Карл Августович ставит мне к затылку кровососные банки и за дверью слышно, как Евпраксия

Дмитриевна поговаривает о горячечной рубашке...  
Меня бьет лихорадка.

Но клянусь всеми святыми, что я разрушу эти дьявольские козни и спасу Юлию. Мою околдованную невесту. Мою единственную, мою вечную...

18 февраля 1828 года.

Уже второй день как я могу сидеть в кровати и даже писать. Кругом все тихо.. уже давно февраль. В окно видно, как галки скачут на снежных сугробах и тишина данковских Палестин, как целебный бальзам, врачует мою душу.

Верочка не отходит от меня.. Поправляет мне подушки, приносит чай и читает мне вслух похождение Телемака .. Милая девушка презрела все сплетни и московские толки и как обрученная невеста выпросила у батюшки сопровождать меня в данковскую деревню. И вот, благодаря ей, я поправляюсь... Кругом все тихо... Слышно, как в столовой тикает маятник английских часов, да скрипят половицы, когда кто-нибудь идет через залу.

Я знаю, что стоит мне дернуть за сонетку, Верочка положит на стол свое вязанье (она сидит

в столовой у окна), отворит дверь и придет ко мне... поэтому все так спокойно, так безмятежно.. Милая девушка, родная моя голубушка, как я тебе благодарен.

Сегодня я выпросил у нее свои тетради и, найдя дневник своих ужасных дней, вновь содрогнулся. Но хочу все же закончить эту грустную повесть и вот пишу.

Хватило бы только силы собраться с мыслями. Мои записки прерываются в тот самый день, когда я запертый батюшкой сидел в своей московской комнате и обдумывал способы освобождения Юлии от власти старика, несчастного старика, всю меру трагедии которого я не мог тогда и подозревать

В ту же ночь я вырезал при помощи алмаза бывшего в перстне, подаренном мне еще в детстве покойным дедушкой, стекло из рамы, отвинтил ставню и сжимая в своих дрожащих руках кинжал и длинноствольный пистолет, еще задолго до полуночи был уже под Новодевичьем.

В домике света не было, все было пусто. Я дрожал в своей крапиве от пронизывавшей осенней сырости и хотел уже ломать дверь и силою

проникнуть в дом Юлии, как вдруг в ночной тиши услышал знакомые стонущие вздохи... Старик возвращался домой, очевидно, после прогулки по Москве вслед за исчезающей Юлией... Со скрипом отперся и снова заперся дверной замок. Вскоре в знакомом окне второго этажа затеплился свет. Я встал со своей крапивы, поднял тесину с мосточка, перекинутого через овраг, приставил ее к крыльцу и с возможной тихостью, засунув пистолет за пояс и закусив в зубах лезвие кинжала, влез по доске кверху и прильнул глазами к окошку.

Диковинное, незабываемое никогда видение открылось мне сквозь запотелое стекло. Вся комната была завалена книгами, медными инструментами и табачными трубками. Старик сидел в углу на низком диване и ожесточенно курил... Из глубины его трубки невиданной спиралью поднимался необычайный дым — густой, светящийся.

Судорожным напряжением щек старик выдувал из трубки огромные клубы дыма, которые — то волчком крутились по комнате, то кольцами плавали в воздухе, бесследно рассыпаясь, то, возникая столбом, крутились по полу.

4\*

Вдруг я стал замечать, что в своем неистовом вращении клубы дыма, сцепляясь и расцепляясь, начали принимать форму человеческой фигуры... В бешеном вращении стали намечаться голова, плечи. Но они не понравились, очевидно, старику. Он поднял длинный вишневый чубук и ударил по дымовой статуе... Она распалась, и только мелкие обрывки дыма волчками побежали по полу.

Старик снова набил трубку и снова завертелись клубы дыма, снова выросла табачная статуя, все более и более... Мгновение и я весь задрожал — из дымовых струй возникли очертания Юлии, очертилось знакомое плечо, засверкало ожерелье, волосы шевелились в дуновении вихря. Юлия вздрогнула и стала быть.

Я готов был ворваться в комнату, но старик вдруг дико захохотал и ударил ее по голове своей трубкой. Видение рассыпалось и я, в ужасе содрогнувшись, сорвался с подоконника и полетел вниз.

Надо думать, что при падении я потерял сознание, потому что все последующее я помню только вочно и неполно ясно.

Очнулся я от стука двери... Как в прошлый раз, как в двадцать прошлых раз, Юлия вышла и направилась к Москве и старый карла заковылял за ней.

Вскоре они скрылись за углом дома. Я не последовал за ними, но вновь поднялся наверх, выдал стекло и в каком-то пароксизме безумия ворвался в комнату. Начал разбивать трубки, рвать листы книг, ломать инструменты, топтать ногами, дико хохоча и рвя на себе волосы... Мое бешенство кончилось только тогда, когда застучала дверь и по лестнице послышались торопливые шаги. Я выскочил в окно и должно быть, упав на землю, снова лишился сознания.

Когда сознание вернулось ко мне, дом пылал, как костер, а вдали среди ив по направлению к Новодевичью бежала, согнувшись в три погибели, знакомая старческая фигура. Я последовал за ним, прихрамывая, потому что повредил при падении ногу.

Старик бежал прямо к Пречистенской башне, его стон был слышен далеко издали, но, однако, он не поднялся к липовой аллее, ведущей от пруда



к стенам, а подбежал к самой поверхности воды. Я подумал, что он хочет топиться и ускорил шаги, поскольку мне это позволяла волочившаяся нога.

Уже светало. Предраcсветный туман белесоватым платом висел над водой, последние листья дерев шорохом отвечали порывам ветра... Старик пропал... Я долго искал его у пруда и, наконец, когда уже почти совсем рассвело увидел, что его следы подошли к каменному водостоку, ведущему внутрь монастырской ограды... Отверстие водостока было очень широко, и я на четверинках свободно последовал вслед за отпечатками следов... Гнилой запах водостока душил меня, колени скользили в какой-то слизи, но я полз...

Верочка запрещает мне писать, утверждает, что у меня воспалились глаза и началась лихорадка. Что делать, таковы законы моего пленительного плена. Подчиняюсь, буду слушать похождения Телемака и дремать...

22 февраля 1828 года.

Продолжаю. Когда я вылез из водосточной трубы, то оказался на кладбище. Стариковских следов не было видно, так как кругом была желтая трава.

Я начал бродить среди могил, весь дрожа от лихорадки и пережитого волнения... Боль в ноге усилилась, ныло плечо... Я уже отчаялся и хотел искать выхода, когда вдруг услышал сдавленные рыдания. Прислушался и пошел по направлению звуков... Вскоре я мог уже различить его фигуру.. Он лежал, содрагаясь рыданиями, на большой могильной плите. Я подошел поближе... Жалкий старик, схватившись обеими руками за голову, припав лицом к старому покрытому мохом камню, рыдал в последнем отчаянии.

Я подошел вплотную к могильной плите и кровь застыла у меня в жилах. Посредине плиты был вырезан на камне круглый медальон... Это был удивительный по искусству барельеф, изображавший женский профиль... Я затрясся всем своим существом — это был портрет той, которая еще так недавно рождалась в клубах табачного дыма и исчезала на перекрестках московских улиц. Я понял все и упал без чувств.

Утром батюшка розыскал меня почти бездыханного среди могил Новодевичья монастыря, около плиты все подписи которой и барельеф были

изрублены и уничтожены, тут же валявшимся топором..., около плиты рос большой старый вяз, на суку которого висел, качаясь от ветра, повесившийся старик.

И сколько он не сто... Верочка требует, чтобы я сжег все эти бумажки и забыл своего старика и Юлию... Подчиняюсь тебе, моя славная девочка, моя женушка и в руки твои отдаю вместе с тетрадью этой и всю мою будущую жизнь.

Гравюры по дереву  
А. Кравченко приложены  
к 3 и 30 страницам книги.

Гравюры оттиснуты с оригинальных  
досок в мастерской А. Кравченко  
Печатано в типографии „Книгосоюз“  
(Москва, Петровка, 17)

Набирал I коллектив поднаблюдением  
зав. наб. отд. тов. Андреева, печатали  
т.т. Волчегорский и Комков поднаблю-  
дением зав. печ. отд. тов. Марьина,  
брошюров. т. Бекетов под наблюде-  
нием зав. перепл.-брош. отд. т. Ни-  
колаева.

## СОДЕРЖАНИЕ

От издательства .....	5
<b>Александр Бахрах. Мой приятель — Ботаник Х.</b> .....	7
<b>Леонид Чертков. Чайнов как прозаик.</b> .....	17
<b>Обманщики. Трагедия</b> .....	45
<b>История парикмахерской куклы, или Последняя любовь Московского архитектора М.</b> .....	79
<b>Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей</b> .....	189
<b>Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стек- лянного человека</b> .....	253
<b>Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина</b> .....	299
<b>Юлия, или Встречи под Новодевичем</b> .....	409

## КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССИКА»

- RUSSICA-81.** Литературный сборник. Поэзия, проза, публицистика, мемуары, публикации. 400 стр. Тв. пер. \$25.00. Бум. обл. \$20.00.
- АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО.** Салат из булавок. Рассказы и фельетоны. 224 стр. \$9.95.
- АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО.** Три книги: «Нечистая сила». «Дети». «Пантеон советов молодым людям». 1921—24. / *Переиздание.* 303 стр. \$7.95. *Распродано.*
- ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ.** Рука. (*Повествование палача*). Роман. 314 стр. \$16.50.
- НИНА БЕРБЕРОВА.** Железная женщина. Роман-биография. 402 стр. \$18.50.
- ИОСИФ БРОДСКИЙ.** Римские элегии. 32 стр. \$5.00.
- МИХАИЛ БУЛГАКОВ.** Дьяволиада. М., 1925. / *Переиздание.* Новая красочная обложка и рисунок А. Крынского. 160 стр. \$5.95. *Распродано.*
- МИХАИЛ ДЕМИН.** Блатной. Роман. 364 стр. \$18.50.
- МИХАИЛ КУЗМИН.** Сети. Первая книга стихов. Берлин, 1923. *Переиздание.* Обложка по оригинальному рисунку Н. Альтмана. 208 стр. \$5.95.
- МИХАИЛ КУЗМИН.** Нездешние вечера. Стихи 1914—1920. Петербург, 1921. / *Переиздание.* Обложка — по оригинальному рисунку М. Добужинского. 136 стр. \$5.95.
- МИХАИЛ КУЗМИН.** Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро. Книжные украшения М. Добужинского. Петроград, 1919. / *Переиздание.* С новым предисловием Геннадия Шмакова. 250 стр. \$9.95.
- НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ РУССКАЯ ЧАСТУШКА.** Подготовка текста В. Кабронского. Предисловие проф. В. Раскина. 220 стр. \$6.95. *Распродано.*
- НОВАЯ НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ ЧАСТУШКА.** Сост. В. Козловский. 405 стр. Тв. пер. \$20.00. Бум. обл. \$15.00.
- БОРИС НИКОЛАЕВСКИЙ.** История одного предателя. Террористы и политическая полиция. Берлин, 1932 г. / *Переиздание.* 374 стр. \$12.00.
- СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС.** Иероглифы. Первая книга. 250 стр. \$8.95.

- АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ.** Россия в письменах. Том 1. Берлин, 1922 / *Переиздание*. С новым предисловием О. Раевской-Хьюз. 222 стр. \$7.95.
- РУССКАЯ ЛИРИКА.** Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака. Сост. Кн. Д. Святополк-Мирский. Париж, 1924. / *Переиздание*. С новым предисловием проф. Глеба Струве. XIII, 21 стр. \$6.95.
- Н. А. ТЭФФИ.** Городок. Рассказы. С новым предисловием Эдит Хейбер. 204 стр. Тв. пер. \$13.00. Бум. обл. \$7.95.
- ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ.** Собрание стихов. Париж, 1927. / *Переиздание*. 184 стр. \$5.95.
- ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ.** Избранная проза. С предисловием и комментариями Н. Берберовой. 320 стр. \$9.95.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Избранная проза в двух томах. Предисловие И. Бродского. 2 тома, 835 стр. \$35.00.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 1. Иосиф Бродский. Об одном стихотворении. (Вместо предисловия). Виктория Швейцер. «Своими путями». (Биографический очерк). «Вечерний альбом». «Волшебный фонарь». «Юношеские стихи». «Версты 1». (1916). Стихи, не вошедшие в сборники. 402 стр. Тв. пер. \$30.00. Бум. обл. \$25.00.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 2. Стихотворения 1916—1922 гг.: «Версты 2». «Лебединый стан». «Стихи к Блоку». «Психея». «Ремесло». Стихи, не вошедшие в сборники. 420 стр. Тв. пер. \$30.00. Бум. обл. \$25.00.
- АЛЕКСАНДР ЧАЯНОВ.** История парикмахерской куклы и другие сочинения Ботаника Х. Предисловие А. Бахраха. Очерк творчества Л. Черткова. 450 стр. \$15.00.
- АНАТОЛИЙ ШТЕЙГЕР.** 2 × 2 = 4. Стихи. 1926—1939 гг. Биогр. заметка А. Головиной. Предисловие проф. Ю. П. Иваска. 104 стр. Тв. пер. \$13.00. Бум. обл. \$6.95.
- WOJCIECH ZALEWSKI.** Russian-English Dictionaries with Aids for Translators. A Selected Bibliography. 144 стр. \$7.50.
- Access to Resources in the '80s: Proceedings of the First International Conference of Slavic Librarians and Information Specialists.** Ed. by Marianna T. Choldin. 110 стр. \$7.50.

## ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ

- АНДРЕЙ БЕЛЫЙ.** Петербург. Авторская инсценировка одноименного романа. Под ред. проф. Джона Малмстеда.
- НИНА БЕРБЕРОВА.** Курсив мой. Автобиография. Издание второе, исправленное и дополненное. С новым предисловием автора.



- НИНА БЕРБЕРОВА.** Биянкурские праздники и другие рассказы.
- НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ.** Чужие камни. Новая книга стихов.
- ЗИНОВИЙ ЗИНИК.** Перемещенное лицо. Роман.
- АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ.** Пляшущий демон. С новым предисловием проф. Владимира Маркова.
- РУССКИЙ БЕРЛИН: 1921—1923.** Тексты и документы. Под ред. Л. Флейшмана, О. Раевской-Хьюз и Р. Хьюза.
- ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ.** Крыса. Подготовка текста и комментарий Роналда Вруна.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Письма Анатолию Штейгеру.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Письма Юрию Иваску.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Проза. Письма. Воспоминания. Сборник новых материалов.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 3. Стихотворения и переводы 1922—1941 гг.: «После России». Стихи и переводы 1922—1941 гг.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 4. Поэмы.

### МАГАЗИН «РУССИКА» ПРЕДЛАГАЕТ:

- СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА.** Двадцать писем к другу. Нью-Йорк, 1981, 216 с. \$10.00.
- БОРИС БАЖАНОВ.** Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Нью-Йорк, 1980. 319 стр. \$15.00.
- МИХАИЛ ЗОЩЕНКО.** Перед восходом солнца. Под ред. и со вступ. статьей Веры фон Вирен. Нью-Йорк, 1973. 315 стр. \$9.95.
- ИНДИЙСКИЕ ТРАКТАТЫ О ЛЮБВИ.** Нью-Йорк, 1977, 133 стр. \$4.00.
- НИКОЛАЙ КАТЕНЕВ.** Костя Попандопуло и я. Нью-Йорк, 1977. 325 стр. \$6.95.
- ЭДУАРД ЛИМОНОВ.** Дневник неудачника, или Секретная тетрадь. Нью-Йорк, 1982. 249 стр. \$12.50.
- ЭДУАРД ЛИМОНОВ.** Это я — Эдичка. 2-е издание, Нью-Йорк, 1982. 281 стр. \$12.50.
- ТАНАХ.** В 3-х томах. 1. Пять книг Торы. Иерусалим, 1975. 271 стр.  
2. Первые и последние пророки. Иерусалим, 1978. 494 стр.  
3. Кетувим. Иерусалим, 1978. 394 стр. Цена комплекта \$29.00.
- АНАТОЛИЙ ЯКОБСОН.** Конец трагедии. Нью-Йорк, 1973. 236 стр. \$6.50
- AVRAM SHIFRIN.** The First Guidebook to Prisons & Concentration Camps of the Soviet Union. Швейцария, 1980. 379 стр. \$7.50.

Aleksandr Chaianov

Istoriia parikmakherskoi kukly i drugie  
sochineniia...

Printed in USA

**ISBN: 0-89830-028-2**